

Надежда Вилько

Интервью с дураками



Надежда Вилько
Интервью с дураками

«Водолей»

2007

ББК 84 (1Рос=Рус) 6"5

Вилько Н.

Интервью с дураками / Н. Вилько — «Водолей», 2007

ISBN 978-5-9796-0008-6

«Интервью с дураками» – первая книга Надежды Вилько, изданная в России. Обе предшествующие – «Сказка о сказке» и «Reincarnation банк» – вышли в США, где автор живет в настоящее время. При всей фантастичности антуража и сюжетных линий (творчество Вилько нередко сопоставляют с прозой Гофмана, Майринка, Одоевского), автор расценивает «Интервью с дураками» как произведение реалистическое. И при всем многообразии национальных принадлежностей героев – русское. Проза Н. Вилько публиковалась в литературном ежегоднике «Побережье», в «Новом Журнале», в литературно художественном журнале «Стороны Света».

ББК 84 (1Рос=Рус) 6"5

ISBN 978-5-9796-0008-6

© Вилько Н., 2007

© Водолей, 2007

Содержание

Остров Алекса	7
Стеклодуб	12
I. Старый Леонардо	12
II. Долины Разлуки	19
III. Моря Забвения	26
IV. Стекло	32
«Счастливая» сумка Оскара	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Надежда Вилько

Интервью с дураками

© Н. Вилько, 2007

© О. Меерсон, послесловие, 2007

© М. Соколова, оформление, 2007

© С. Castañon, фотография 2007

© Водолей Publishers, 2007

* * *



Остров Алекса

Мой самолет приземлился на полтора часа позже, и когда после всех формальностей, связанных с багажом, таможей и арендой машины, я вышла из здания аэропорта, уже стемнело. За сорок с лишним лет, которые я провела на острове Алекса, я отвыкла от цивилизации, и меня поразило отсутствие звезд на небе.

Я откладывала эту поездку до тех пор, пока годы не дали мне почувствовать, что дольше откладывать нельзя. То же думала и моя старая университетская подруга Мишель, с которой мне предстояло встретиться, проехав на автомобиле около сотни миль.

Усталости я не чувствовала, но была страшно голодна. В юности Мишель всегда посмеивалась над этим моим свойством – испытывать голод в самых драматических ситуациях.

Она не могла встретить меня – у нее был артрит, и последние два года она почти не вставала с кресла.

Я остановилась в первом попавшемся мотеле, позвонила Мишель, умылась с дороги и спросила у портье, есть ли поблизости ресторан, до которого я бы могла дойти пешком. Ресторан был, он назывался «Карлуччи и Карлуччи», но свободного столика в нем не оказалось. Мне предложили подождать в баре, но я не стала бы ждать, если бы не услышала произнесенного совсем рядом имени «Алекс». Я не стала бы ждать, если бы, обернувшись, не увидела, что Алексом звали молодого блондина с четким, как оттиск на старинной монете, профилем, и если бы место у бара рядом с ним не оказалось свободным.

– Только не у меня, Алекс, – смеясь, говорил бармен. – У меня вам подадут именно то, что вы выберете.

Я заказала компари с содовой и посмотрела на своего соседа. Задумавшись, он встряхивал бокал с остатками красного вина. Он уже расплатился, и, казалось, только рубиновые отсветы на дне бокала, на которые он так внимательно и отрешенно глядел, удерживают его здесь.

– А вы бы хотели, чтобы вам подавали только то, что вы выбираете, Алекс? – спросила я.

Блондин повернулся, удивленно поглядел на меня; конечно, в полумраке я могла ошибиться, но мне показалось, что глаза у него были синими.

– Рита, – сказала я, протянув ему руку. – Простите, что обратилась к вам так... Я не была в этой стране больше сорока лет и, кажется, одичала.

– Совсем наоборот, – улыбнулся он, пожимая мне руку, – это мы тут одичали. Только я не понял вашего вопроса.

– Я хотела сказать, что наш выбор не так уж важен. И что, если бы, выбирая, мы выбрали иначе, ничего бы не изменилось.

Он внимательно выслушал меня, немного подумал и опять улыбнулся:

– Кажется, это называется фатализмом.

В этот момент ко мне подошла официантка и сказала, что освободился столик.

– Составьте мне компанию, – предложила я Алексу, – и я попробую разубедить вас в том, что это называется фатализмом. – И добавила: – Ваш выбор.

– Я ничем не рискую, – пожал плечами Алекс, – раз мой выбор ничего не меняет.

Он немного кокетничал со мной, этот милый, милый мальчик. От этого мне вдруг стало очень весело. Еще веселее мне стало, когда я подумала, что и я немного кокетничаю с ним.

Мы пересели за столик у окна, заказали спагетти, телятину под чесночным соусом, артишоки и бутылку самого дорогого красного вина.

– Вы как будто прочли мои мысли, – сказал он. – Я как раз думал о том, что мне делать, когда вы вдруг заговорили о выборе. Только я, кажется, не понял, что вы хотели сказать, – добавил он.

У него действительно были синие глаза. И эти, так похожие на Алексовы глаза глядели на меня с такой похожей на Алексову серьезной доверчивостью.

– Я сказала, что если бы мы выбрали по-другому, то ничего не изменилось бы. Неважно, *что* мы выбираем, потому что не это результат нашего выбора. Но результат нашего выбора есть, и он – следствие того, что мы дали себе труд выбрать. Разве то, что я говорю, похоже на фатализм?

– То, что вы говорите, ни на что не похоже, – улыбнулся он. – У меня есть приятель, журналист, – он тоже обожает говорить загадками. Я непременно загадаю ему вашу.

Мы просидели в ресторане до самого закрытия, и чтобы мои слова перестали быть для него загадкой, я, привыкшая молчать и выслушивать других, в итоге рассказала ему историю всей своей жизни.

* * *

В юности, когда я жила в доме моего дяди Эдгара, мне часто случалось просыпаться с обостренной раздражительностью: день заранее виделся мне сотканным из тупого мелочного абсурда. Так оно и было. Особенно если предстояло принимать гостей или наносить визиты. И день, в который я познакомилась с Алексом, был именно одним из них – это был день моего рождения. Я знала, что соберется свора престарелых родственников и друзей дяди Эдгара и его третьей жены. Дочь этой третьей жены, Мария, подарит мне свой очередной шедевр – она училась живописи в Париже, но не успела доучиться из-за начавшейся войны, – и все будут ахать и отпускать глубокомысленные замечания, а за глаза называть ее «бедной бессребреницей».

Бессребреницей она казалась только по сравнению со мной, поскольку мне в день совершеннолетия доставались пятьдесят миллионов моего покойного отца. А до того дня процентами с них распорядился дядя Эдгар, стараясь привить мне любовь к наукам во втором по счету европейском университете.

Науки я не любила никакие, особенно не любила физику и астрономию, и если бы заново открыли, что земля стоит на трех китах, кажется, вздохнула бы с облегчением. Преподавателям я досаждала без устали, поскольку была очень способна и очень эксцентрична. Думаю, что меня терпели только благодаря дядиным «дружеским» связям. Сверстники называли меня колючкой, и только одна Мишель впоследствии смягчила это прозвище и называла меня птичкой-колючкой. Она утверждала, что в моем профиле было что-то летящее.

Впервые мы с ней разговорились в университетском дворике у моего любимого маленького фонтана-раковины. Как только начинало теплеть, сюда слетались птицы. За три столетия они загадили раковину до того, что непонятно было, из чего она сделана. Только в том месте, где к ней крепилась труба, можно было различить нежно-зеленую патину старинной бронзы.

Мне всегда нравилась Мишель. Она была интеллигентна и независима, и на нее было приятно смотреть. Очень хорошенькая блондинка, чуть курносая, с приподнятыми как бы во всегдашней легкой улыбке уголками губ, она всегда казалась веселой.

В тот первый наш разговор она пригласила меня пойти с ней на автобусный вокзал порисовать ночью с натуры. Она сказала, что ночью люди больше похожи на то, что они есть на самом деле. Я спросила ее, хорошо ли она рисует, и она со смехом призналась мне, что почти совсем не умеет.

Мы быстро подружились. Она тоже оказалась сиротой, тоже приехала из Америки, где жила с не чаявшей в ней души одинокой теткой, «старой, да не девой», как выразилась она, и, что бы ни думали о ней другие, тоже была колючкой.

Вокруг нее вечно толпились наши университетские зануды, а она посмеивалась и над ними, и надо мной, когда, в очередной раз не выдержав общества ее бесконечных поклонников, я сбегала.

Из-за войны мы обе не вернулись после каникул в Англию. Она жила тогда где-то в Мэйне, и мы стали переписываться. Я по сей день храню пачку ее старых писем, так же как и жемчуг, который она подарила мне в тот самый день, с которого я начала свой рассказ.

Тот день начался вкривь и вкось. Дядина жена сама принесла мне в спальню поднос с завтраком, на котором по случаю дня моего рождения красовалась ваза с цветами. Эта ваза опрокинулась в постели, и меня окатило холодной водой.

Я сказала что-то резкое, после чего меня полчаса преследовал доносившийся из открытых окон гостиной ее «наследственный» акцент, – ее родители были родом из Швейцарии, – который пропадал только когда она ругалась с прислугой.

– «Такое обращение... нестерпимо...»

В тот день я первый раз в жизни напилась. Сладкий с привкусом кокоса коктейль понравился мне, и я пила его и пила. Мне всё казалось, что меня тошнит не от коктейля, а от назойливого мелькания лиц, и я постаралась сосредоточиться на одном из них. Это было женское лицо, и оно вдруг испугало меня... Не то чтобы оно было незнакомым, но я словно впервые увидела его: гладкое и подтянутое, и на нем мертвые, холодные, выцветшие глаза с набрякшими веками.

Я оглядела собравшихся гостей, и все лица показались мне похожими на это. И тогда произошло нечто поразительное – как если бы вдруг щелкнул выключатель и вспыхнул ослепительный свет; помню, я даже зажмурилась.

«Всё из-за них. Невозможно с рождения, постоянно видеть вокруг себя этих людей и не раздражаться на людей вообще!» – так открылась мне причина моей нетерпимости, и одновременно я почувствовала себя удивительно легко, как будто свалился мешавший жить груз.

Потом я испугалась, что пьяна и могу забыть то, что открылось мне вдруг. Мне показалось, что вернее будет проговорить это вслух, и я громко сказала:

– Как удивительно, что я не догадалась раньше, что вы не только уродливы и глупы – вы страшны! Если бы я умела рисовать, я бы всех вас перерисовала!

К вечеру я улетела в Мэйн к Мишель. Дядя не удерживал меня, очевидно, опасаясь очередного скандала. Но я уже не была способна скандалить. Я очнулась в своей спальне после недолгого сна слабой и счастливой.

Мишель встретила меня, мы обнялись, и я долго-долго не отпускала ее.

– Что с тобой случилось, птичка-колючка? – повторяла она.

Я бестолково объясняла ей, торопилась, сбивалась, подробно рассказывала зачем-то о гостях, вспомнила давно уже не существовавшую приживалку Аделию, как она ела, всегда неряшливо и с жадностью, и с такой же жадностью сплетничала. Я сбивалась, потому что, говоря о них, совершенно не ощущала ни раздражения, ни неприязни.

Мишель подарила мне жемчуг, некрупный, чуть розоватый и очень блестящий. Он и до сих пор так же блестит, ожерелье не потускнело. Старая Джамила, сын которой по-соседски помогает мне управляться со сбором земляных орехов, говорит, что это оттого, что я его постоянно ношу.

Прямо из аэропорта Мишель повезла меня на выпускной вечер студентов медицинской академии, среди которых был Алекс. «Трудноочаровываемый», – назвала его она. Лицо ее было загадочным и грустным, она похудела, и мне казалось, что никогда еще она не была так красива.

В тот вечер все были красивы. Я уже старуха, но и сейчас мне хочется плакать, когда я вспоминаю первый, удивленный взгляд синих глаз Алекса. Я сказала ему что-то о его глазах, а он ответил, что я совсем не такая, какую он представлял меня себе со слов Мишель.

Я осталась жить в маленьком городке под Ричмондом, поступила на какие-то курсы сестер милосердия при госпитале, в котором стал работать Алекс. Осенью мы обручились.

Осень была теплой и долгой. Мы часто ездили на океан, и я любила сравнивать его цвет с цветом глаз Алекса – я никогда не отличалась даром предчувствия.

Через год я должна была получить свои деньги, и Алекс говорил, что тогда, если кончится наконец война, мы сможем уехать в Африку, открыть там больницу, поселиться в какой-нибудь старой усадьбе в колониальном стиле, ездить на лошадях и завести двух ручных гепардов. Мы очень основательно обсуждали эту будущую больницу, где набрать персонал, как сделать так, чтобы в ней было прохладно, чтобы было достаточно мест.

– Знаешь, – говорил он, – когда мне было семь лет, я однажды увидел фотографию, снятую где-то в Конго во время эпидемии чумы. Там горел длинный барак или конюшня, где держали больных. И за горящими балками можно было разглядеть сидящих у стены детей, таких же, каким был я. Они спокойно сидели и смотрели на огонь. Я никогда не любил огонь.

Когда я просыпалась ночами и глядела на его чеканный, темный на фоне белевшей занавески профиль, на стройные очертания его тела, знакомого мне лучше моего собственного, на высветившуюся прядь его волос, мне было страшно от счастья.

В начале декабря его мобилизовали врачом на военный корабль. А в середине декабря приехал дядя Эдгар, которому я наконец написала о том, что происходит в моей жизни.

Дядя Эдгар долго рассматривал фотографию Алекса, расспрашивал меня, как и где мы познакомились, чем занимается Алекс. Он был так непривычно внимателен и тактичен, что я рассказала ему всё: об Африке, о больнице, об усадьбе в колониальном стиле и о том, что Мишель не простила меня.

– Ничего, – успокоил дядя Эдгар, – твоя подруга простит тебя. Она поймет, что ты тут ни при чем, если уже не поняла.

Я уловила иронические нотки в его голосе.

– Конечно, ты тут ни при чем. Во всем виноваты твои деньги. Без денег ведь ни усадьбы, ни больницы не построишь, – пояснил он. – Тебе бы тоже неплохо это понять.

Пришла ночь. И то мне казалось, что дядины слова – бред, то весь мир лежал осколками разбитого бокала у моих ног. Это был любимый Алексов бокал, который я швырнула на пол, как только дверь за дядей Эдгаром закрылась.

На следующий день я позвонила Мишель и попросила ее встретиться со мной. Она держалась отчужденно, но, наверно, я держалась не лучше. Разговор не клеился, ни у одной из нас не хватало духу его начать. Может быть, она заметила на мне жемчужное ожерелье, свой подарок, но только начала его все-таки она.

– Не думай, я не в обиде на тебя. Просто... просто мы давно не виделись.

– Мой дядя сказал, что ты простишь меня, потому что поймешь, что Алексу нужна не я, а мои деньги, – сказала я и, так как она промолчала, спросила: – Ты тоже так думаешь?

– Я не знаю, – ответила Мишель.

Через неделю я написала Алексу о своем решении разорвать помолвку. О том, что это невыносимо мучительный для меня выбор, но что еще мучительнее для меня уехать на другой континент с человеком, о котором я никогда не буду знать правды, для того чтобы воплощать в действительность его мечту.

А еще через месяц я получила свое письмо назад вместе с уведомлением о том, что Алекс погиб. Корабль, на котором он плыл, был потоплен японской авиацией близ одного из маленьких, едва различимых на карте тихоокеанских островов.

Мишель увезла меня к себе, и ночь мы провели обнявшись и проплакав до рассвета. Она качивала меня, как ребенка, и приговаривала:

– Бедная моя птичка-колючка...

Она ничего не знала о моем письме, и никогда не узнала.

Помню, зима была страшной. Но еще страшнее было лето. Оно выдалось нестерпимо жарким и влажным. Я задыхалась по ночам в своей спальне, но не осмеливалась включить вентилятор, потому что тихое гудение его немедленно складывалось в отчетливую мелодику похоронного марша.

Потом закончилась война, и многие тихоокеанские острова, в том числе и остров Алекса, стали американским протекторатом.

Я уехала на этот остров и прожила там сорок с лишним лет. Я построила на нем и больницу, и усадьбу в колониальном стиле, и школу. Теперь там все говорят по-английски, а вначале было очень тяжело объясняться. Вот только гепардов я не завела – их на острове Алекса нет. Зато есть много белок и птиц, и у меня целое поле земляных орехов для них.

Много лет я работала в госпитале – пригодились курсы сестер милосердия. Я страшно уставала, но если бы я работала меньше, старой Джамиле пришлось бы, наверно, чаще толочь для успокоения моих нервов корешки каких-то неведомых мне растений. Впрочем, я давно обхожусь без отваров старой Джамилы.

С Мишель мы переписывались все эти годы. Она вышла замуж вскоре после моего отъезда. Теперь она уже овдовела, у нее дочь и двое внуков, о которых она пишет со своим всегдашним, немного колючим юмором. Она увлеклась спиритизмом, но и об этом пишет с юмором, – мне всегда нравилась Мишель.

* * *

Алекс проводил меня до мотеля. Дорбгой он молчал и был очень задумчив. Я поглядывала на него, удивляясь тихим уколам в сердце, и переводила взгляд на непривычно беззвездное небо. Было ли оно здесь таким, когда я в последний раз видела его, или нет, – я не помнила.

Прощаясь, он поцеловал мне руку и задержал ее в своей.

– А ведь я опять ничего не понял, – признался он. – О каком выборе вы говорили? Ваше решение, – он подбирал слова медленно и старательно, – ничего не изменило. Ведь ваш друг всё равно умер.

Я улыбнулась и покачала головой.

– Я не решала вопроса его жизни и смерти. Это был не мой выбор.

– Но разве что-нибудь изменилось бы, если бы вы не написали того письма, если бы вашего выбора не было вообще? – спросил он.

– Тогда, – сказала я, – я не знала бы, как щедра была моя судьба. Она подарила мне то, что я выбрала, и то, от чего отказалась.

Стеклодуд

I. Старый Леонардо

Когда мне исполнилось пять лет, родители взяли меня с собой в Сан-Хуан. Я хорошо помню мощеную камнями улицу, по которой мы спускаемся к морю, кадки с засохшими цветами по обеим ее сторонам, запах жареной рыбы из открытых окон.

Еще я помню огромную круглую луну – бледно-голубую, у самой воды – и блестящую лунную дорогу, которая медленно сходит на нет где-то между горизонтом и тем местом на берегу, где стою я.

– Это лунный закат или лунный рассвет? – спрашиваю я и не верю, когда мне, смеясь, отвечают, что у луны не бывает ни закатов, ни рассветов. Я решаю, что это закат.

* * *

В долгие ноябрьские ночи я закрывал глаза и представлял себе этот закат до конца, до того момента, когда круглая, огромная луна тонула за горизонтом, неторопливо и величественно погружаясь в воду.

Мысль о лунном закате успокаивала меня. Из двух успокаивающих мыслей, которые я отыскал бессонными ночами прошлой осени, эта была первой. Второй была мысль о старом Леонардо.

Моим двоюродным дедом, дядей отца, был не кто иной, как известный и горячо любимый по всей Италии поэт и сказочник Леонардо Грацини.

Во время очередной европейской поездки отец – он был одним из директоров международной строительной компании и большую часть времени проводил в разъездах – после двухлетнего перерыва, связанного с женитьбой, уговорил мою мать навестить Леонардо в его маленьком домике в Палермо.

Послушать его, так старый дом на склоне Монте Пеллегрино, где в долгие вечера у камина он выслушал столько сказок, и сам был ожившей сказкой. На лимонных деревьях в саду вырастали апельсины, а лягушки в заводи отчетливо выквакивали по ночам «*pe-qua-quam vacuam*»¹. И вообще мир вокруг Леонардо был мифом, в котором всё, включая склоки и ссоры, существовало с интенсивностью заново сотворенного.

Мама со сдержанной улыбкой выслушивала панегирики отца. Она была родом из Швейцарии, и проявления латинской восторженности любимого мужа не теряли для нее как своей пугающей новизны, так и своей сомнительной убедительности.

– *Il mio angelo dorato*², – говорил он, – поедем со мной в Палермо. *Il Paradise e il posto per gli angeli*³.

И она поехала.

Тем ужаснее оказалась реальность. Они застали Леонардо состарившимся и больным, с разбитым сердцем и угасшими мечтами. Жена, обожаемая Джулия, адресат и вдохновительница дерзких сонетов поэта, бросила его, соблазненная патрицианским профилем и – как настаивал отец – чековой книжкой некоего миланского банкира. Дом обветшал, сад одичал,

¹ Вакуума не существует (*лат.*).

² Мой золотоволосый Ангел (*итал.*).

³ Ангелам место в раю (*итал.*).

камин превратился в хранилище пустых бутылок. Но одинокий больной пьяница Леонардо не утратил ни своей удивительной жизненной энергии, ни своей странной высокомерной улыбки. Вновь очарованный им, как в детстве, отец вознамерился спасти сумасшедшего самоубийцу и решил увезти его с собой в Америку.

– Тебе надо сменить обстановку, – твердил он. – Уход Джулии – не конец света, и Палермо – не пуп земли.

– Конец... – в свою очередь твердил Леонардо. – Пуп... Что я буду там делать?

Когда перечисливший все щедро гиперболизированные соблазны западного мира и выведенный из терпения племянник воскликнул: «А что ты собираешься делать здесь?!», поэт ответил: «Пить».

– Пить здесь вам скоро будет не на что, – заметила моя практичная мать.

Почему-то именно этот аргумент оказался неотразимым, хотя по приезде в Америку Леонардо пить, наоборот, бросил.

Отец присмотрел ему маленький, напоминающий палермский, домик на пустыре неподалеку от аэродрома. Сада, да и вообще деревьев, вокруг дома не было вовсе, но открывавшийся из окон вид очень понравился Леонардо своей новизной. Восточные окна выходили на огромное поросшее дикими ромашками поле, из западных был виден океан, и Леонардо просиживал перед ними с восхода до заката, переселяясь вместе с солнцем с востока на запад. Причем проделывал он это даже в пасмурные дни. Когда его спрашивали, зачем он это делает, он отвечал, что «свидетельствует Светило». Больше он не делал ровным счетом ничего, и это очень беспокоило моего отца.

Однажды, в отчаянии от собственного бессилия, отец раздраженно достал с книжной полки потрепанный томик притч Леонардо. Искушение запустить им прямо в голову старого сумасброда было велико, однако он сдержался, открыл книгу и стал читать вслух первый попавшийся рассказ. Им оказалась небольшая история о Стеклойной Ящерице. Некоторое время чтец торопливо проглатывал слова и бросал тревожные взгляды на автора. Тот продолжал невозмутимо глядеть в западное окно, – уже наступил вечер. Понять, слушает он или нет, было невозможно, но во всяком случае он не перебивал. Вскоре, однако, отец сам увлекся рассказом и перестал обращать на Леонардо внимание.

Стеклойная Ящерица

Рассказывают, что когда правитель Венеции женился на Беатриче Роспильози, племяннице кардинала Чезаре, измученные налогами муранские стеклодувы вздохнули, наконец, с облегчением.

Капризная красавица обладала изысканным вкусом и неумеренной потребностью в роскоши. Как из рога изобилия сыпались на муранцев всё новые и новые заказы, и каждый из них щедро оплачивался звонкой монетой.

Даже сам суровый герцог Спада признавал за своей женой тончайшее чувство цвета и деликатнейшее понимание пропорций. Муранские же мастера превозносили ее имя до небес и ежедневно молили святых покровителей о ее здоровье и долголетию. Когда, по ее настоянию, было решено осветить набережные каналов изящными цветными фонарями, все сошлись на том, что роль судьи в объявленном по всей провинции конкурсе должна принадлежать только ей самой.

Вместе с правом украсить своими творениями прекраснейший город Италии победитель получал также драгоценное звание Свободного Мастера, которое навеки освобождало его от уплаты пошлин и налогов в казну герцогства.

От тех времен дошла до нас странная и трогательная легенда.

Многих прекрасных мастеров подарила миру гильдия муранских стеклодувов, но никогда не было среди них никого талантливее молодого Луиджи Торлини. Темный кобальт его кубков горел страстным синим огнем ночи, лазурь его витражей спорила с полуденным небом Италии, а их кармин мог сравниться разве что с розами в садах Эдема. Никто не мог придать той прочности стеклянному стилету или той тонкости изящному сосуду для благовоний, какие с легкостью удавались Луиджи. Всем, что знал, он охотно делился с другими мастерами, но в его знаниях не было для них секрета. Секрет заключался в волшебном прикосновении его смуглых, покрытых ожогами рук.

Еще одной страстью Луиджи являлась безграничная любовь к бедному люду. Казалось, эта страсть соперничала в нем со страстью к стеклу, но это было не так; ведь именно для них днем и ночью были открыты двери его знаменитого павильона. И не столько за едой и милостыней стекалась в него венецианская беднота, сколько затем, чтобы своими глазами увидеть прекрасные творения мастера, прикоснуться к ним, на мгновение забыть нищету, болезни и уродство жизни и со слезами на глазах признать чистоту, величие и милость Создателя. Для них творил Луиджи и в их восторгах искал и находил – нет, не оценку творимому, ее он знал и сам, но радость и мимолетный покой сердца.

Ибо сердце Луиджи Торлини было беспокойным. Оно вмещало и требовало несоизмеримо больше того, что могла предложить обыденная сторона жизни.

Темными безлунными вечерами он подолгу сидел у залива и глядел на далекий мерцающий огонь маяка. И в эти часы на лице его расцветала невидимая миру, странная, чарующая и высокомерная улыбка.

Он был красив одухотворенной и пронзительной красотой архангела, и женщины Венеции ревниво и неустанно оспаривали его внимание друг у друга. Но и в угаре очередного любовного увлечения Луиджи часто чувствовал себя так, как, наверно, почувствовал бы себя рыцарь Дон Кихот, если бы внезапно понял, что дракон, с которым он так яростно и страстно сражается, есть не что иное, как ветряная мельница.

Рассказывают, что даже сама герцогиня Беатриче не осталась равнодушной к чарам молодого мастера. Однажды утром, задолго до рассвета, она послала за ним наперсницу с приказом срочно явиться во дворец.

– Не удивляйся, что я послала за тобой в столь ранний час, – милостиво улыбнулась ему красавица. – Я решила показать тебе кое-что из своих драгоценностей и услышать твою оценку. И мне не хотелось бы, – тихо добавила она, – чтобы нам кто-нибудь помешал.

Некоторое время она открывала шкатулки, предлагая ему взглянуть то на пылающее кроваво-рубиновое ожерелье, то на горящую радужным огнем алмазную диадему, то на бесценный, покрытый жемчугами и сапфирами кубок.

– Что ты думаешь об этом? – каждый раз спрашивала она.

– Я думаю, – каждый раз с поклоном отвечал Луиджи, – что это изделие достойно твоего вкуса.

– Как однообразны твои суждения, – усмехнулась герцогиня. – Но всё равно я бы желала выслушать еще одно. – И, с улыбкой подняв к нему прекрасное лилейное лицо, она спросила: – Что ты думаешь обо мне, мастер Луиджи?

– Я думаю, – тихо ответил юноша, – что ты похожа на это утро.

Он отступил на шаг и распахнул дверцы балкона.

– Посмотри, – обернулся он к ней, – кажется, еще темно, но воздух светел и чист, как сосуд, наполненный драгоценным каприйским вином – вином, предназначенным Императору!

Эти слова и проникшая в комнату влажная предрассветная прохлада заставили Беатриче поежиться.

Взмахом руки она отпустила мастера и весь день провела в глубокой задумчивости.

Вечером она позвала наперсницу и сообщила ей следующее:

– Я знаю, что я грешница. Как и всякой грешнице, мне самим Создателем положено любить святых. Я знаю также, что Луиджи Торлини мог бы стать моим любовником, потому что, как и всякому святому, ему самим Создателем положено любить грешников. Но думается мне, что это не принесет ни одному из нас ни счастья, ни наслаждения.

И пожав плечами, повелительница Венеции обратила свои взоры в другую сторону.

Однако и это не принесло ей счастья. Рассказывают, что, обнаружив измену, суровый герцог Спада собственной рукой поднес к губам своей супруги кубок отравленного вина.

Отзвучали зауспокойные колокола, и Венеция погрузилась в сумрак беззвездной осенней ночи. Не освещали и долго не будут освещать ее каналов прекрасные цветные фонари, – такова была воля разгневанного правителя.

Луиджи сидел за рабочим столом и скорбно глядел на свое новое творение. Оно напоминало гроздь роскошных цветов олеандра. Пурпур их чашечек отбрасывал блики на бледно-розовые и золотисто-желтые внутренние лепестки; нежно-зеленые плавно изогнутые листья заслоняли основания фонарей, смягчая и сдерживая горевший внутри огонь. Ему было жаль и прекрасной Беатриче, и того, что теперь ни сама она, ни кто бы то ни было иной не увидит на канале его светильников, не насладится игрой света в цветах стеклянных олеандров.

Погруженный в эти невеселые мысли, Луиджи незаметно задремал. Разбудил его раздавшийся, казалось, у самого уха тихий мелодичный звон. Луиджи открыл глаза и с изумлением разглядывал крохотную стеклянную ящерицу, невесть каким чудом оказавшуюся на его столе. Прозрачная и чистая, как драгоценный бриллиант Беатриче, ящерица горела радужным огнем; в каждой ее чешуйке, в каждом плавном изгибе ее маленького ладного тельца Луиджи с ужасом и восторгом видел и признавал руку гениального мастера.

Он было потянулся к ней, но тут же в испуге отпрянул, потому что именно в этот момент неподвижная сверкающая фигурка на столе заговорила:

– Я пришла к тебе, как приходила к великим мастерам стекла Колона, Шартреза и Кентербери, – зазвенел ее чистый, как хрусталь, голос. Тихий, он, тем не менее, наполнил собою всё помещение и эхом отразился от стен. – Я пришла, чтобы утешить наградой достойного награды и утешения.

– Благодарю за утешение, в нем я нуждался, – сказал Луиджи. – А наградой мне будет твой визит.

– Прежде чем отказываться, – возразила ящерица, – выслушай меня. В мире живых я могу обернуть каждое слово твоей лжи правдой. Поверь, это так же просто, как отрастить новый хвост, не менее вещественный и согласный с порядком тела, чем прежний.

С закружившейся головой Луиджи представлял себе жизнь, исправленную его волшебной ложью. И разве не это всегда было его целью: украсить и обогатить мир, хоть на мгновение заставить его забыть о страданиях и уродстве? Как легко сможет он удержать и продлить это мгновение, если примет дар стеклянной ящерицы!

– Я принимаю твой дар, – тихо сказал он.

– Ты щедр, бескорыстен и честен, но будь осторожен! – отозвалась та и с легким звоном рассыпалась мириадам сверкнувших и растаявших на лету осколков.

До сих пор процветают известные на весь мир муранские стеклодувы. До сих пор называют они мастера Торлини «приносящим удачу» и чтут его, как святого. Нищету он превращал в достаток, жадность – в щедрость, тяжкий труд – в любимое дело. Он запомнил прощальный совет ящерицы и был осторожен. Только однажды, нечаянно узнав, как горько терзается нелюбовью к навязанному родителями мужу младшая сестра Бианка, он поторопился необдуманно сказать друзьям:

– Это не так. Я-то знаю, что Бианка и ее муж жить друг без друга не могут.

И радовалось его сердце, когда видел он согласие и покой, воцарившиеся в доме сестры.

Через год флотилия Чезаре Роспильози, решившего, наконец, отомстить за смерть племянницы, а заодно и прибрать к рукам Венецию, потопила одну из галер герцога Спада, на которой находился и муж Бианки. Ветреной октябрьской ночью подплыла вдова к маяку и бросилась с гондолы в холодные воды залива, потому что жить не могла без любимого мужа.

Когда утихла первая волна отчаяния и неизбежной и привычной тяжестью улеглись в сердце мастера Луиджи скорбь и раскаяние, понял он, что никогда больше не рискнет исправить горькую правду этого мира своей волшебной ложью. И что же оставалось ему тогда? Говорить только правду? Но правда не нуждалась в его подтверждении...

«Мысли разумного человека, – напомнил себе он, – могут принять одно из двух направлений: “Что я собираюсь сделать в следующее мгновение? Вечером? Завтра?” или “Что имел в виду Творец, создавая этот мир, пустыню, дерево, ветер, женщину, янтарь, смерть...”»⁴

Первый вопрос не требовал больше ответа и – Луиджи знал – никогда не потребует: он будет молчать.

Чем больше он размышлял над вторым, тем больше был уверен, что Творец и сам не может ответить на него. Сотворив своим Словом правду мира, исполненный горячей любви к сотворенному, Он не станет множить страдание этого мира новым Словом, как не станет делать этого и Луиджи.

Творец и сам не может ответить на второй вопрос, потому что Он тоже навеки замолчал. И остаток дней Луиджи провел в слезах сочувствия к Создателю.

* * *

– Какая замечательная мысль! – воскликнул Леонардо, когда племянник закончил читать рассказ.

– Если ты собираешься провести остаток дней в слезах сочувствия, сочувствуй лучше мне, а не Создателю, – ядовито заметил мой отец.

Леонардо нетерпеливо махнул рукой:

– Да ну вас к черту – обоих! Я имею в виду совершенно не это.

И к концу недели его маленькая светлая гостиная превратилась в недурно оборудованную стеклодувную мастерскую.

А к концу года стеклянные скульптуры, вазы, конфетницы, бокалы, лампы и елочные игрушки Леонардо Грацини продавались в магазинах прикладного искусства и даже выставлялись в галереях. Впоследствии несколько работ купил местный музей. У старика появилась масса новых знакомых и приятелей, отец перестал беспокоиться и заслуженно гордился собой, а гораздо реже свидетельствуемое старым поэтом Светило прокладывало обычный небесный путь над пустырем к океану и дальше.

Я не был свидетелем этих событий, о них я слышал от старого Леонардо, и они, как и все остальные истории, рассказанные им, вплелись в многоцветный узор памяти моего детства.

Родители подолгу бывали в разъездах. Иногда они брали меня с собой, но чаще я уговаривал их оставить меня со старым Леонардо. Конечно, мне нравились и Париж, и Берн, и Мадрид, и Мехико, но больше всего мне нравилась мастерская Леонардо и огромный поросший дикой ромашкой пустырь за его домом.

– Как он похож на тебя! – с улыбкой говорила отцу мать, ероша мои отросшие за лето волосы, такие же светлые и волнистые, как у нее. – «Хочу к Леонардо, останусь с Леонардо, поехали к Леонардо...» Ты только посмотри на него – он совсем одичал! Черный от загара, колени ободраны, на руках ожоги, а ногти! В следующий раз, – грозила она мне пальцем, – никуда не поеду с твоим отцом, останусь с тобой.

⁴ Айзек Динесен. «The Dreamers» («Мечтатели»). *Вольный пер. с англ.*

– Оставайся! Я покажу тебе, как выдувать из стекла сосульку, а потом мы вместе с Леонардо, и Джеком, и Агриппой будем пить горячее вино и печь на пустыре картошку.

– Кто такие Джек с Агриппой? – хмурилась мать.

– Джек – бродяга, – охотно сообщил я. – Летом он живет на пустыре под брезентом. А Агриппа наполовину овчарка, но он тоже ест картошку.

– А на другую половину? – переглянувшись с отцом, спрашивала она.

– Скорее всего волк, – пожимал плечами я.

– Ничего страшного, – тихо говорил ей отец. – Я поговорю со старым сумасбродом.

– Конечно, ничего страшного, – подтверждал я, глядя в озабоченное лицо матери. – Я совершенно не боюсь волков.

Она улыбалась в ответ, и отец облегченно вздыхал:

– Пусть слушает сказки. Это пойдет на пользу обоим. Может, старик снова начнет писать.

– Почему ты давно не рассказываешь мне свои истории?

Я сидел на высоком жестком табурете и смотрел, как остывает добавление к моей лесной коллекции – маленький прозрачный еж с черным носом и темно-красный, свернувшийся клубком дракон с зелеными глазами.

– Потому что я рассказал тебе все, которые знал, а новых не придумал.

– А почему ты не придумал новых?

– Потому что мне грустно. Если придумывать истории когда грустно, получаются грустные истории. А на свете и так много грустного.

– А почему тебе грустно?

– Гмм... Мне, видишь ли, не хватает союзника. Ты, конечно, можешь возразить. Ты можешь сказать, что мы легко находим поддержку у всего в мире. Если, конечно, ищем ее и если, конечно, не слепые. Так ведь?

– Так, – подумав, согласился я. – Чего уж тут найдешь, если не ищешь и уж тем более если ты слепой!

– Молодец! – Леонардо, смеясь, хлопнул меня по плечу. – Но, видишь ли, даже если ты не слепой и даже если ищешь, можешь всё равно не найти поддержку... в человеческих лицах. А ведь мы тоже люди, и потому нам без этого бывает грустно.

– По-моему, тебе нужны новые очки, – обидевшись за свое лицо, посоветовал я.

– Алекс, я вижу, что придется объяснить тебе всё, как мужчина мужчине.

Заинтригованный и польщенный, я кивнул.

– Ни одно лицо не было для меня важнее любимого и любящего женского лица, – медленно и торжественно сказал старый Леонардо. – Я глядел в это лицо пятнадцать лет. Потом оно стало меняться. А потом и вовсе исчезло.

Тут мне тоже стало грустно.

– Ты прав, – помолчав, признал я, – придумывать грустные истории не стоит. И знаешь, у этого дракона грустная морда.

– Правда? – улыбнулся старый Леонардо. – Ну тогда давай его переделаем. И, наверное, ты тоже прав, мой дорогой, – добавил он. – Я имею в виду насчет очков...

Я со страстью плавил, дул и красил стекло. Я уже знал, сколько нужно добавлять в плавку мела, соды и окиси свинца, помнил наизусть рецепты окраски стекла окисями металлов. Медью – от кроваво-красного, как драгоценный рубин, до бледно-синего; кобальтом – в темно-синий; антимонием – в желтый; железом – в зеленый, коричневый и даже в черный.

Я привык к реву самолетов и выучил массу итальянских ругательств, которыми неизменно раздражался Леонардо, когда инструменты на столе начинали дрожать и позвякивать от вибрации.

Зимой я носился с приятелями по пустырю, катался на лыжах и строил снежные крепости; потом снег таял, пустырь зарастал дикой ромашкой, приятели разъезжались на лето. Тут на пустыре начиналась другая, но ничуть не менее интересная жизнь. Стоило весне чуть устояться, как «в ромашках» поселялись бродяги. Среди них мы с Леонардо быстро заводили приятелей, с которыми часто засиживались дотемна, чистили пойманную в заливе мелкую рыбешку, мастерили удочки, чинили старый велосипед, готовили на костре еду. Там я выслушал много странных историй; правда, большей частью я досматривал их уже во сне, убаюканный теплым океанским ветром, рокотом самолетов и глотком обжигающего глинтвейна. Во всяком случае, просыпался я не среди бродяг и ромашек, а в доме, где преломленные цветными кристаллами солнечные пятна на стенах и потолке ясно указывали на то, что уже утро.

Потом я пошел в школу, но каникулы проводил с Леонардо. Он посмеивался, говорил родителям, что я не лишен некоторых способностей, – я довольно прилично рисовал, – и иногда даже пользовался моими эскизами для своих поделок. Мне это, конечно, льстило, но по-настоящему я любил только одно: сам давать своим рисункам объем и цвет в стекле. Стекло... каким обманчиво податливым было оно, каким непредсказуемым и каким горячим! А остывая совсем чуть-чуть, становилось упрямым и хрупким. Руки мои покрывались новыми ожогами, но учились двигаться быстрее и точнее. Леонардо показывал мои шедевры приятелям, заходившим в мастерскую, и уговаривал отца разрешить ему взять меня с собой в июле в Мурано.

Но в июле самолет, на котором родители возвращались из Швейцарии, попал в грозу над Атлантикой и не долетел до аэродрома. Оба они погибли в катастрофе.

II. Долины Разлуки

Я сидел на жестком табурете в мастерской, мне было очень холодно. Я глядел на стеклянное дерево, которое хотел подарить матери. Изумрудные листья его переплетались у основания с аметистовыми и синими вьюнками. Как долго и тщательно добивался я верного баланса и точного цвета, особенно того аметистового, ее любимого. Я не плакал; бессильный гнев душил меня и не находил выхода. «Почему они? Почему именно они?» – ожесточенно повторял я, глядя на мое бессмысленное, жалкое, никому не нужное дерево.

Как хорошо, что оно было таким хрупким и, упав, взорвалось множеством сверкающих осколков, когда медленно и равнодушно моя рука передвинула его к самому краю стола и дальше. Если бы так же легко можно было разбить всё!

– Алекс, – тихо позвал Леонардо. Я не заметил, как он вошел.

– Это мое дерево, я сам сделал его, и я его не хочу! – сказал я.

– Конечно, твое, – подтвердил Леонардо.

– И я не поеду в Мурано! Потому что я не хочу... – но я не мог объяснить ему, чего не хочу; всё вызывало во мне отвращение. Я не хотел... всего.

Леонардо молча ждал, глядя не на меня, а на осколки стеклянного дерева.

– Ты не хочешь, чтобы они были мертвы, – сказал он и поднял на меня печальные спокойные глаза.

Я молчал.

Он подошел и положил руки мне на плечи. Какими теплыми были его руки!

– Почему они? – вырвалось у меня. – Почему именно они?

Старый Леонардо чуть заметно покивал, признавая справедливость моего вопроса, но ответил как-то странно:

– *Be in good cheer – no man is immortal!*⁵

И я заплакал.

– Никто не бессмертен, мой мальчик, – пробормотал он и крепко прижал меня к себе. – Никто...

Мы оба пребывали в уверенности, что я останусь жить с Леонардо, и часто впоследствии я думал об этой несостоявшейся жизни вместе.

Изерна через посольство меня затребовала сестра моей матери, тетя Ада, которую я видел три раза в жизни и почти не помнил, и через полгода административных проволочек я улетел в Швейцарию.

Последнюю неделю перед отъездом я плохо спал. Просыпаясь среди ночи, я слышал, что Леонардо тоже не спит, бродит по дому, стучит клавишами старой пишущей машинки в гостиной, заваривает на кухне кофе.

Утро моего отлета выдалось солнечное. Стоял конец января, и накануне выпал снег. Я глядел на белый пустырь за окном и молчал, потому что в горле застрял огромный, мешающий дышать комок.

– Не вешай носа, – подбодрил меня Леонардо. – Ты приедешь сюда на каникулы, я уже договорился с Адой. И я знаю, какой подарок приготовить к твоему приезду, – лукаво добавил он и выжидающе замолчал.

– Какой? – спросил я, стараясь звучать заинтересованно.

– Ты часто рассказывал мне про лунный закат – ты ведь хотел бы увидеть его?

Я кивнул.

⁵ Не падай духом – бессмертных людей нет (*англ.*).

– Ну вот, решено! – улыбнулся Леонардо. – Я подарю тебе лунный закат, мой мальчик. А пока что – это тебе на дорогу. – Он встал и достал с полки фанерный ящичек и большой рыжий конверт. Я заметил, что руки его немного дрожали.

– Что это? – спросил я.

– Это, Алекс, – и лицо его снова расцвело своей загадочной и высокомерной улыбкой, – моя новая история. И ею я обязан... гмм... новым очкам. Нет, не открывай, – быстро добавил он, видя, что я потянулся к ящичку, – уже нет времени. Посмотришь потом, не торопись.

В самолете, глядя на плотные, ослепительно-белые облака, я долго размышлял о природе грусти. Я не верил, чтобы старому Леонардо могло быть весело, но ничего не имел против того, чтобы его новая история оказалась грустной. Наверное, та грусть, которая мешала ему придумывать раньше, была какой-то другой грустью. И я достал из конверта отпечатанные на старой машинке листки.

Улыбка слепого Дастура⁶

На утреннем небе еще не погасли звезды. С трудом отыскав у самого горизонта полустертые очертания созвездия Крия и в них бледную звезду Кебрэн, послушник Нарасан простился с ней и, обратив лицо к востоку, приготовился ждать рассвета. Начинался день Дин, любимый день послушника.

– Во имя Дадара Ормузда! – произнес он привычную формулу начала и глубоко вздохнул, пытаясь унять поселившуюся в душе тревогу. Источник тревоги не являлся для Нарасана загадкой. Перед отходом ко сну – по традиции Избравших путь Добра – учитель всегда прощался с ним Радостной вестью. Радостная весть могла отражать любое, даже самое незначительное светлое впечатление прошедшего дня. Но с самого начала месяца, девять ночей подряд, учитель повторял одно и то же:

– Радуйся, возлюбленный ученик Нарасан! Ибо ночь не стала яркой, и не покинула своего места звезда Хапторинг из созвездия Медведицы.

Нарасан знал о грозном времени Аушедара, и все приметы конца царств и суда над живущими были ему известны. Учитель призывал его радоваться отсутствию этих примет!

Вздохнув еще раз, Нарасан нараспев начал читать молитву:

– Я для добрых дел. Я не для злых дел. Я для добрых слов. Я не для злых слов. Я для добрых мыслей...

Он было замолчал, задумавшись над тем, можно ли назвать тревожные мысли добрыми, как вдруг странное, запоздалое эхо подхватило его слова:

– Я для добрых мыслей. – И продолжило: – Я не для злых мыслей.

Нарасан изумленно обернулся и различил в тени южной колонны в нескольких шагах от себя темный силуэт говорящего.

– Кто ты? – удивился он. – Давно ли ты здесь?

– Мое имя Бахман, – ответил незнакомец. – С наступления темноты я ждал, пока откроются двери храма. Прости, что помешал твоей молитве, но нетерпение гложет меня.

Пришедший говорил отрывисто и дышал тяжело. Чувствовалось, что усталость и волнение владеют им.

– Скажи мне, – продолжал он, – не здесь ли живет Благодетельный Бессмертный Армаити, хранящий пепел Великих книг⁷?

– Бессмертные не живут в нашем изменчивом мире, как не живут в нем мертвые; и те и другие неизменны, – улыбнулся ученик Нарасан наивному вопросу пришельца.

⁶ Дастур – в зороастризме жрец, духовный наставник.

⁷ По преданию книги Заратустры были сожжены в Персеполисе Александром Македонским.

Тяжкий вздох услышал он в ответ, и тело пришельца медленно опустилось к подножию колонны. Шагнув ближе, Нарасан склонился над распростертой на каменных плитах фигурой. То был юноша, изможденный, оборванный и прекрасный, как лик самого Армаити. Жалостью наполнилось сердце послушника. Он оглянулся на наливающийся золотом клочок неба и мысленно попросил прощения у невзошедшего Светила. Затем поднял юношу и шагнул с ним под сумеречные своды храма.

Живительный сок граната и недолгий отдых вернули румянец щекам пришельца.

– Утешит ли тебя, Бахман, – участливо спросил послушник, – известие о том, что пепел Великих книг действительно хранится здесь? Но хранитель его не Армаити, а смертный слепой Дастур по имени Асван.

– Слепой... – разочарованно повторил юноша.

– Зохак имел шесть глаз и всё же был злым демоном, – сухо заметил Нарасан. – Это правда, что учитель слеп. Но именно потому, что он с давних пор не уповал на зрение, он и помнит все слова Великих книг и является единственным, кто может прочесть их пепел. Знай, что Ангел Ешаджа посетил учителя, как когда-то посещал царя Фарудуна, и посвятил его в тайны астрологии, в секреты настоящего, будущего и прошлого царств. Но людям, – печально покачал головой ученик Дастура, – нет больше дела ни до тайн мироздания, ни до книг Заратустры, ни до прошлого и будущего, ни даже до настоящего. Ты первый за долгие годы путник, поднявшийся сюда. Что привело тебя к нам, Бахман?

Внимательно, с разгоревшимся взглядом слушал своего собеседника юноша.

– Семь лет назад, – ответил он, – вышел я из отцовского дома, но до сих пор не нашел того, в поисках чего вышел. Согласится ли помочь мне твой Дастур, хранитель пепла Великих книг?

На низкой деревянной скамье у восточных дверей храма сидел старый Дастур Асван, опустив руки в огромную каменную чашу с пеплом Великих книг⁸. Незрячие глаза его были широко открыты и неподвижны. Казалось, глубоко задумавшись, не слышал он ни гулких шагов вошедших, ни слов Нарасана, просившего принять и выслушать пришельца. Но вот он чуть склонил голову.

– Говори, – услышал Бахман тихий, ласковый голос старого жреца.

– Мое имя Бахман, – с поклоном отозвался юноша. – Я ищу царя парфян и пришел спросить тебя, где мне его найти.

– Царь, – всё так же ласково ответил Дастур, – находится в Персеполисе, что известно тебе не хуже, чем мне.

– Нет! – с силой воскликнул пришедший, и эхо повторило его восклицание. – Я ищу настоящего царя! Выслушай меня, о Дастур! Артабан Парфянский, сидящий на троне в Персеполисе, устроил заговор с целью устранить неудобного ему правителя, верного последователя Заратустры и моего отца. Коварными речами соблазнил Артабан моего старшего брата и вложил в его руку кинжал убийцы. Я любил отца, и я любил брата. Отца предупредили о том, что к нему подойдут убийцу, и милостью Ормузда кинжал сломался о кольчугу. Но отец не знал, что убийцей окажется родной сын. По закону покушавшегося надлежало казнить, однако мать помогла ему бежать. Я был рядом с ней в тот день и помню, как на закате, обратив к Персеполису свое прекрасное, залитое слезами лицо, она воскликнула: «Артабан Парфянский, отнимающий жизнь отца рукой сына и жизнь сына рукой отца, ты не царь! И ты не слуга Аримана, ибо в нечестии своем не ведаешь даже и того, что служишь злу. Да сжалится над нами Мудрый Владыка Света – над землями Персии нет царя!» Мне было девять лет, когда я вышел из дому, чтобы найти царя. Семь лет я ищу его. Я обошел земли Индии и дошел до Эгейского моря. Я

⁸ Согласно арабскому историку Табари, книги Заратустры, содержавшие два миллиона стихов, были записаны благочестивыми каллиграфами на двенадцати тысячах воловьих шкур.

искал его в Армении, Убаре и Сусиане, но так и не нашел. И вот совсем недавно в Персеполисе до меня дошел слух о том, что живет в горах один из Бессмертных, хранитель пепла Великих книг, владеющий тайнами мира, и я поспешил сюда и стою перед тобой. О Дастур Асван! Хоть ты и смертный, в тебе моя последняя надежда! Если не ты, беседующий с Ангелом Ешаджей, то кто может ответить на мой вопрос – где мне найти царя?

Так закончил свою речь юноша и умоляюще посмотрел в незрячие глаза Дастура.

– Назови мне имя твоего отца, – сказал старик.

– Бабек сын Сассана, правитель провинции Истахир, – ответил пришелец.

Долгим показалось молчание учителя ученику Нарасану и бесконечным показалось оно Бахману.

– Я рад тебе, Бахман сын Бабека! – заговорил наконец старец. – Я отвечу на твой вопрос и укажу тебе, где найти царя Парфии.

Юноша упал на колени и счастливо рассмеялся.

– Но для того, чтобы ты понял мой ответ и поверил ему, – предостерегающе поднял руку Дастур, – ты прежде должен найти ответы на мои вопросы.

– Я готов, – отозвался Бахман, поднявшись с колен и гордо вскинув голову.

– Ты уединишься в восточной колоннаде храма, – продолжал старый Дастур, – где только голоса птиц, журчание источника да шелест ветвей могут потревожить тебя. Ты запишешь мои вопросы и возьмешь с собой восстановленные пергаменты – в них всё то, что я успел по памяти продиктовать моему ученику.

– Но я не умею ни читать, ни писать! – воскликнул юноша.

Старый учитель покачал головой:

– Ты сказал, что готов. И теперь, чтобы твои слова не оказались ложью, придется тебе научиться и тому и другому. Нарасан поможет тебе.

Миновал месяц Лея, и в день Тира Бахман вновь предстал перед жрецом Асваном.

– Дважды прочел я книгу Джамаспи, – сказал он, – и семь раз переписал наизусть клятву о пяти достоинствах избравшего путь Добра. Достаточно ли этого, глубокочтимый Дастур?

– Да, – ответил слепой Асван и похвалил юношу за усердие. – Теперь ты готов выслушать и записать мои вопросы. И первый из них: что правит жизнью человека, его любовью и богатством? Второй: от чего зависит достоинство воина? Третий: с помощью чего смертный видит и не забывает красоту и свет? И последний: кому надлежит желать счастья?

Шепотом повторял вопросы Нарасан, стараясь удержать в памяти каждое слово. Беззвучно шевелил губами Бахман, старательно записывая за учителем.

Закончив, он перечитал написанное и нахмурился:

– Трудные вопросы задал ты мне, о Дастур Асван. Должен ли я искать ответы на них в тех пергаментах, что ты дашь мне с собой?

– Ищи, – ответил старик.

Дважды миновал месяц Четша, когда вновь предстал перед слепым жрецом сын правителя Истахира. Глаза его были красны от бессонницы, лицо с упрямо залегшей меж тонких бровей складкой бело от скорби.

– Много узнал я из сокровища Великих книг, – сказал он, – и благодарен тебе за это знание. Я знаю теперь, что и в каком порядке сотворил на земле Владыка Жизни, Света и Истины. Я радовался тому, что в первом Бессмертном отразилась безграничность Разума Владыки. Я дивился тому, что первый Бессмертный сотворил второго, второй третьего, а предпоследний последнего, и долго размышлял над этим. Я понял, что ни один из Бессмертных не есть больше или меньше другого, подобно тому, как от огня не убудет, если зажечь от него другой огонь. Размышлял я и о многом другом из того, что нашел в восстановленных тобою драгоценных

пергаментах. Но я не нашел в них ответов на твои вопросы. Что делать мне теперь, о Дастур Асван?!

– Возвращайся в колоннаду храма. И знай, что только сам Владыка Истины Ормузд может помочь отыскать ответы тому, кто не нашел их в сожженных книгах Заратустры.

– Разве Владыка Истины живет в заброшенной колоннаде храма?! – с горечью отозвался юноша. – Быть может, ты подскажешь мне, где найти Его?

– Этого тебе не подскажет никто, – ответил слепой Дастур и закрыл свои незрячие глаза, давая понять, что беседа закончена.

Трижды наступил и прошел месяц Тавур. И вновь предстал перед учителем сын правителя Истахира. Голос юноши стал грубым и хриплым, но прекрасные темные глаза горели торжеством на осунувшемся и возмужавшем лице.

– Я долго искал Владыку Ормузда, – сказал он. – Я искал Его и в мягком мерцании звезд, и в ослепительном сиянии Солнца. Я пытался услышать Его в журчании источника, в щебете птиц и в шепоте ветра. Я призывал его в молитвах и песнях, пока не сорвал голос и не впал в отчаяние. Наступила душная ночь. Мрак, не смягченный светом хотя бы единой звезды, заполнил колоннаду так, что мне показалось, будто я ослеп. Страх безнадежного одиночества омрачил мою душу, и нить, привязывающая меня к жизни, – нить надежды натянулась, готовая оборваться. И в этот миг в мертвом, напряженном беззвучии услышал я чье-то дыхание. Нить надежды потянула меня за собой, и всем своим существом ощутил я внезапно, что в начале ее меня ждет чье-то благостное присутствие. Да, Его Благостное Присутствие ощутил я в черной колоннаде храма! Как безумный заметался я меж колонн, ощупывая их, припадая к их основаниям, моля Творца Света хотя бы о жалкой лампаде. Оглушительный раскат грома потряс ночь, и молния, на мгновение ослепив, удержала в серебряном сиянии окружавшее меня пространство, и никого не увидел я! Но когда свет молнии погас, я уже не был один во мраке грозовой ночи. Нить надежды привела меня к себе самому: это свое дыхание слышал я и узнал в нем дыхание Творца Жизни! Ормузд всегда был со мной – Он был во мне. И легкими показались мне вопросы, которые когда-то задал ты мне, о Дастур! На первый из них – «Что правит жизнью человека, его любовью и богатством?» – я отвечаю: удача. На второй – «От чего зависит достоинство воина?» – я отвечаю: от его действий. На третий – «С помощью чего смертный видит и не забывает красоту и свет?» – я отвечаю: с помощью своей воли. По поводу последнего же я скажу: счастье тому, кто делает счастливыми других!

– Это так, – кивнул слепой Дастур. – И очевидным покажется тебе ответ на вопрос, который когда-то ты задал мне. Как искал ты Владыку Ормузда вокруг себя, а нашел в себе, так и царя, которого искал ты на пространствах священной земли Барса⁹ и за ее пределами, найдешь ты в себе. Ибо ты и есть царь Парфии, Бахман сын Бабека! Тебе надлежит соединить расторгнутое и осветить путь людей бессмертными Истинами Владыки Жизни! Иди и помни, что не случайны были вопросы, над которыми так надолго пришлось задуматься тебе. Ответы на них могут пригодиться царю царей.

Размеренно текли дни, восходы и закаты освещали их череду, отзвук битв не тревожил птиц, щебетавших в одичалом саду храма. Не тревожил их отзвук и старого Дастура, мирно проводившего свою жизнь у чаши с пеплом Великих книг.

Только ученик Нарасан до боли в глазах вглядывался в пустынную горную тропу да неустанно молил Ормузда послать скорую удачу Бахману сыну Бабека. Возможно, его молитвами и случилось так, что однажды в день Дин, любимый день послушника, поднялся по тропе

⁹ Персия (тюркск. Земля Барса). Барс в зороастризме является манифестацией Ормузда.

вестник в запыленной, разорванной одежде, но с горевшей на щите золотой эмблемой Сассанидов.

– Радуйся, мудрейший среди живущих! – воскликнул он, упав на колени перед слепым жрецом. – Царь царей Ардашир¹⁰, он же Бахман сын Бабека, шлет тебе почтительный поклон. Свет истины воссияет над Парфией вновь! Храмы будут восстановлены, разрозненное соединено, Великие книги переписаны семижды семь раз!

Недолго пробыл посланник царя царей в храме, ибо торопился со своей вестью дальше.

Вскоре после его ухода стемнело, и Нарасан зажег светильники у изображения крылатого Фараоха. Пламя, колеблемое легкими порывами весеннего ветра, достигло того места у восточной стены, где сидел учитель, и высветило на лице его тихую счастливую улыбку.

Осторожно, словно улыбка была птицей, готовой в любой момент слететь с лица любимого Дастура, Нарасан приблизился и тихо сказал:

– С той поры, как помню себя, учитель, помню я и тебя. В радостях и печалях, в зной и холод, во времена надежд и во времена безнадежности неизменным, прекрасным и безмятежным оставалось твое лицо. Но никогда еще не видел я, чтобы озаряла его такая светлая, блистательная улыбка! Чему улыбаешься ты? Не тому ли, что в мире нет знамений конца, что ночь не стала яркой и звезда Хапторинг не покинула своего места на небе?

– Нет, – ответил слепой.

– Может быть, ты улыбаешься тому, что в Персеполисе появился благочестивый царь и в мире людей вновь заблестит истина?

– Истина, Нарасан, блистает в мире всегда. Она подобна звездам в безоблачной ночи: чтобы увидеть их достаточно поднять к небу лицо.

– Тогда, учитель, не улыбаешься ли ты мужеству и упорству царя, в тяжких и долгих скитаниях не отступившего от своей цели?

– Это в порядке вещей, – сказал старый жрец. – Цель движет человеком, имеющим ее, смягчает тяготы пути и превращает время в ничто.

– Царь, ведающий то, что дано знать лишь мудрейшим из смертных, – вновь обратился к Дастуру Нарасан, – наполняет мое сердце восхищением. Быть может, учитель, ты улыбаешься мудрости нового царя?

Старый слепой покачал головой и задумчиво опустил руки в пепел священных книг.

– Мы, люди, – дети забвения, – сказал он. – Ненадежно наше знание и капризна наша память. Мы забываем не только то, что сожжено, но и то, что, как сам огонь, не подвержено разрушению огнем: мы забываем смысл Великих слов. И только новые слова способны вдохнуть в нас дух старых, вернуть им жизнь. Я улыбаюсь, мой возлюбленный ученик, всего лишь «Царю», так самозабвенно и долго искавшему «Царя», и счастливой звезде его поиска. Я улыбаюсь воскрешению знания, Нарасан. Я улыбаюсь рождению мифа. Ибо миф есть крылья знания. И знание того, что истинный путь всякого в мире невозможен без долгого и тяжелого пути внутри себя, подобно птице облетит земли на крыльях мифа «о Царе, искавшем Царя».

Птицы и снились Нарасану в ту ночь. Прекрасные птицы с гибкими лебедиными шеями и шафрановыми перьями. Они тоже искали Царя. Горы опоясывали Землю, и самая дальняя, самая высокая из них была Его обителью. Нарасан не знал имени этих птиц, но знал имена долин и морей, над которыми они пролетали, – то были долины Разлуки и моря Забвения. И многие птицы отделялись от стаи и спускались в них, и всё меньше оставалось летящих. Всего тридцать опустилось, наконец, на вершине самой дальней, самой высокой горы Земли. И в косых лучах восходящего Солнца ослепительно засверкали вдруг царские короны на головах долетевших.

¹⁰ Ардашир (*Artaxerxes*) – «тот, чье царство прекрасно».

«Я проспал рассвет», – в смятении подумал Нарасан и проснулся.

Но рассвет еще не наступил, он только снился ученику Дастура, как снились и шафрановые птицы с лебедиными шеями, имени которых он не знал.

И когда ранним утром последняя звезда медленно проплыла по бледному небу и растворилась над последней колонной храма, исполненный надежд послушник Нарасан улыбнулся ей, зная, что эта звезда не была звездой Хапторинг.

– Тридцать птиц... – прошептал он. – Я так и назову их – Симург¹¹, когда расскажу о своем сне учителю.

* * *

В ящичке, который я открыл, дочитав рассказ, лежала сверкающая маленькая корона. Сквозь ровные зубцы ее из голубоватого и прозрачного, как родниковая вода, стекла просвечивали тонкие золотые, серебряные и темно-красные нити сложных, геометрически точных узоров. И мне казалось, что никогда я не держал в руках ничего прекраснее этой стеклянной короны.

«Моря Забвения и долины Разлуки»... В то утро я думал, что мне знакомы долины Разлуки. А моря Забвения? Забывают ли в них нас или забываем мы? Решив, что все-таки последнее, я подумал, что моря Забвения мне не грозят.

У меня была необычная память. Согласно тактичному замечанию одного знакомого психолога, сделанному существенно позже, – «недискриминирующая». Особенно зрительная. Ряды цифр и формул, сложнейшие графические кривые и страницы текстов отпечатывались в моем мозге с упорством липнувшей к лампочке мошкеры. Помоему, что-то в этом роде было и у моего отца. Жаль, что я не успел спросить его, как жить с такой памятью. С годами она обернулась стальным капканом, в который чуть не попался и я сам вместе с графической интерпретацией рядов Фурье и чертежами кораблей, изобретенных с сотворения мира до наших дней.

В то утро я не знал еще, что прекрасная память не спасает от морей Забвения. Это моря, в которых забываешь себя и забываешься собою, и потому забыть и быть забытым означает одно и то же.

В долгие ноябрьские ночи я закрывал глаза, мысль о лунном закате успокаивала меня и медленно сплеталась в моем полусонном сознании с мыслью о старом Леонардо. Засыпая, я не знал, то ли это я скольжу по стеклянному морю навстречу огромной круглой луне, то ли луна, сверкая тонкими золотыми, серебряными и темно-красными нитями сложных, геометрически точных узоров, скользит навстречу мне. И я был счастлив, зная, что вижу, наконец, лунный закат Леонардо, тот второй подарок, который он не успел мне подарить.

Леонардо умер через два месяца после моего отъезда. Мне из гуманных соображений сообщили об этом гораздо позже. Очевидно, умер он на закате, потому что нашли его сидящим в кресле у западного окна своего маленького, так похожего на палермский дома. Долго, мучительно и безуспешно пытался я вспомнить, что делал в тот день.

Тетя Ада, ее муж и взрослая дочь были хорошими людьми, – но, Боже мой, как с ними было скучно!

¹¹ Си – тридцать, мург – птица (Si Mürg, перс.).

III. Моря Забвения

Я летал в Америку каждый год на каникулы, сначала с родственниками, позже один. Квартира родителей была сдана внаем, поэтому останавливались мы в гостиницах. Жить в доме старого Леонардо тетя Ада наотрез отказалась и даже попыталась его продать. Но поскольку поговаривали о том, что аэродром будут расширять и все окрестные постройки сносить, покупателей, по счастью, не нашлось. Дом был каменный и потому почти не ветшал, только краска на нем темнела да заколоченные досками окна зарастали диким плющом.

Прошло много лет, прежде чем я вернулся в Америку насовсем. Инженерные и математические способности и феноменальная память обеспечили мне головокружительную карьеру в Морском Министерстве в Вашингтоне. Начал я инженером, но как-то очень быстро превратился во внештатного, а потом и в штатного научного консультанта. А года через полтора, вскоре после принятия моей новой системы кодирования, я уже руководил патентным бюро. Меня хвалили, превозносили, мне завидовали. Продолжалось это почти шесть лет, и, наверное, продолжалось бы дольше, но моя перегруженная память, по счастью, не выдержала. Началось с бессонницы, потом появились головные боли, раздражительность, повышенная чувствительность к звукам, короче то, что врачи назвали острым переутомлением. Мне настоятельно рекомендовали год полного отдыха, и, бросив все дела, я уехал в родной город и поселился в квартире родителей, к тому времени давно пустовавшей.

Трудно сказать, как долго я просуществовал в ней в странном отупении, как будто окруженный со всех сторон водой, сквозь толщу которой иногда пробивались смутные звуки и краски мира. Когда отупение прошло, я временами почти сожалел о нем, поскольку оно гарантировало своего рода покой. Теперь же в моей жизни отыскались всего две успокаивающие мысли: о лунном закате и о старом Леонардо. Всё остальное представлялось сплошным хаосом, в котором не было места даже иерархии: мысли о том, что делать со своей жизнью дальше, и о том, что я опять не отнес в химчистку свою любимую куртку, успешно конкурировали своей значимостью.

«Жизнь есть своего рода цепочка выборов, – думал я, – верных или неверных, но делать которые человек должен, на что-то опираясь. На что же может опереться человек без иерархии?»

Лично я не мог опереться даже на материальную необходимость, прекрасно осознавая, что жаловаться на это, в сущности, смешно. Но даже вопрос о возвращении в Вашингтон по окончании года не мог быть решен с точки зрения материальной необходимости; с тем, что оставили родители, и с тем, что приносили мои собственные патенты, можно было жить и так.

Да, можно было жить... Но чего-то фундаментально необходимого этой жизни не доставало. Я повторял себе, что еще не успел отдышаться, и это, несомненно, было правдой, но несколько не утешало. Затяжное беспокойство сродни боли: оно как звоночек, предупреждающий нас, что не всё в нашей природе благополучно. И беспокойство не оставляло меня. Оно отравило всё, даже с детства выручавшие отношения с книгами. Одни представлялись куцыми и беспомощными, другие вызывали раздражение заведомо неразрешимыми вопросами, третьи – тоску своим добротным и остроумным пессимизмом. Не лучше обстояло дело и с книгами, имевшими светлое измерение. С теми, в которых автор, наскоро исчерпав убедительный пессимизм быта, словно говорил: «С меня достаточно, теперь я улетаю...» – и улетаю. От таких книг я морщился, как от зубной боли, поскольку к тоске и раздражению добавлялась еще и зависть. Впрочем, подавляла не зависть сама по себе, а то, что оттенок снисходительности в ней требовал от меня заметного усилия – врать самому себе было противно.

Но самой невыносимой была четвертая разновидность – книги одаренных безошибочным чутьем тончайших мыслителей, блестящие и безжалостные, как мир, в котором мне не

было места. Гомер, Майринк, Динесен, Калассо, Эко, Борхес... Их я не то что не мог читать – от них мне хотелось быть.

Беспокойство отравляло всё: мои отношения с друзьями, с женщинами. С Сабинной. Жизнерадостная, легкая и сильная, как ветер, Сабина... Любимая ученица Баланчини. У нее с иерархией было всё в порядке. И с выбором тоже: она знала, чего хотела, – танцевать. И ее очаровательная женская практичность восставала против «беспричинного» беспокойства.

– Ты свободен в средствах и талантлив, – повторяла она. – Ты можешь жить как хочешь.

– Может быть, это из-за меня? – спросила она однажды. – Может быть, ты влюблен, но... не любишь?

Подобная наивность вызвала мою улыбку.

– Молчишь, как всегда, – вздохнула она.

Мы сидели на балконе, был вечер, и легкий бриз доносил до нас запахи моря и дурманящих южных цветов. Я увез ее на Мартинику. Я любил ее. Осенью она уезжала в Венецию: ее пригласили танцевать в La Fenice.

– Моя бабушка была родом из Венеции, – рассказывала она. – Очень вспыльчивая женщина! Она научила меня танцевать мой первый танец – тарантеллу. Помню, ужасно ворчала и называла меня «кусок идиота». «Кусок» – наверное, потому что я была еще совсем маленькой. Она умерла, когда мне было четырнадцать. С тех пор если я не знаю, что делать, – Сабина улыбнулась, – как, например, сейчас... я говорю с ней. Иногда наяву, иногда во сне. И она часто выручает... Поехали со мной, – неожиданно предложила она. – Ты ведь ничем не связан, и ты знаешь язык лучше меня.

– Что я буду там делать? – спросил я.

– А что ты собираешься делать здесь?

– Пить, – рассмеялся я, сообразив, что мы слово в слово разыгрываем знаменитый диалог моего отца и старого Леонардо. Потом обнял Сабину и добавил: – У меня есть на что.

– Дурак, – сказала она.

В сентябре она уехала. В моей жизни чего-то недоставало задолго до встречи с Сабинной, но только после разлуки с ней я нашел слово, точно определившее это недостающее: радость.

– Я слушаю твое сердце, – как-то сказала она, приложив ухо к моей груди. Тонкими пальцами она старательно повторяла на моем плече его ритм. – Оно бьется так сильно. И ничто в мире не может быть для меня сейчас важнее его биения. Я хочу знать о тебе всё...

Я ничего не ответил ей, я обнял и любил ее, и ничто в мире не могло быть важнее ее красоты, ее тела, ее существа. Но я мог бы ответить: «Ты знаешь обо мне то, чего никогда не знал о себе я сам. Я никогда не знал, что могу быть так устрашающе счастлив с женщиной». И еще я мог бы ответить: «Я самое одинокое существо в мире. И что бы я ни рассказывал о себе, любимая, я буду рассказывать о своем одиночестве, потому что больше у меня ничего нет». Позволить ей, полной жизни, радости и юного блеска, разделить мое тусклое существование, было абсурдом и гротеском. Расстаться с ней – мучением.

Но не это было моей главной проблемой. Отношения с Сабинной, с людьми и даже с книгами были лишь следствием моих отношений с Создателем.

О Создателе я знал немного. Конечно, были вещи, в которые я хотел верить, и вещи, в которые я не хотел верить, но они не в счет. Знал же я о Нем только то, что Он обладал изощренным воображением и был потрясюще холоден к своему созданию. Впрочем, «холоден» – неверное слово. Скорее – неперсонален, как стихия, как гравитация, как звезды. Но я также знал, что каким бы Он ни был, я *должен* научиться глядеть в Его лицо без раздражения, враждебности и обиды. И если что-то во Вселенной глядело в ответ в наше лицо, пусть бы оно глядело в него дружелюбно. Но с какой стати станет оно глядеть дружелюбно в отчужденное лицо человека без радости, в мое лицо...

Наверное, та грусть, что мешала сочинять старому Леонардо, и была отсутствием радости. Помнится, когда-то я сердито посоветовал ему купить новые очки, чтобы увидеть союзников в «человеческих лицах»; теперь мне самому нужны были очки, я не видел вообще ничего.

Среди немногих людей, общество которых доставляло мне удовольствие в те дни, был Оскар, мой давний друг еще по Вашингтону. Он был журналистом, человеком поразительной эрудиции и очень славным собеседником. Меня всегда забавляла его профессиональная привычка накалять атмосферу разговора парадоксальными замечаниями. Замечания эти, отнюдь не безобидные, никогда, однако, не бывали бестактными: Оскар обладал удивительной врожденной деликатностью. И это редчайшее свойство я ценил в нем более всех остальных.

Познакомился я с ним на улице, у входа в какое-то учреждение, где оба мы остановились покурить в тени. Электронные двери здания не работали, о чем и сообщал висящий за стеклом внушительных размеров плакат. Но на плакат никто не обращал внимания: сотрудники, возвращаясь с обеда, прикладывали к глазку пропуск и, как заведенные, упорно толкали дверь по нескольку раз. Мы с Оскаром наблюдали за этой повторяющейся сценой, время от времени молча переглядываясь. В конце концов он добродушно посоветовал какому-то толстячку одновременно приложить пропуск и нажать на дверь. Выполнить это можно было только согнувшись и толкая дверь задом, что тот, к нашему изумлению, и проделал несколько раз.

– Просто удивительно, – вздохнул Оскар. – Жизнь на автопилоте!

Мы разговорились и провели вечер вместе. Помнится, долго беседовали о литературе.

Вот и на этот раз мы заговорили о литературе. То есть говорил в основном он; я только пожаловался на отвращение к книгам.

– Симптоматично, но не смертельно, – улыбнулся он и поставил диагноз: – Хандра. И это хорошо, что у тебя отвращение к пессимизму, – добавил он. – Это обнадеживает.

Я возразил, что, во-первых, у меня отвращение ко всему и, во-вторых, для простой хандры мое состояние что-то уж чересчур затяжное.

– Как ты относишься к Льву Толстому?

Я пожал плечами:

– С почтением.

Оскар удовлетворенно кивнул:

– И я тоже. Но, – он многозначительно поднял указательный палец, – сам он относился к себе, помоему, с опасным радикализмом.

– То есть?

– Вот шар, – задумчиво сказал мой приятель (мы играли в бильярд). – Представь, что на этом столе прорыта канавка. Шар катится по ней. Если чуть толкнуть его влево или вправо, он в нее вернется, – Оскар сосредоточенно покачал бильярдный шар. – Но сильнее толкать его, – и Оскар пихнул шар так, что тот откатился к борту, – опасно. Его просто-напросто занесет, и он... потеряется.

– Ну и... – выжидательно спросил я, видя, что он замолчал. – При чем здесь Лев Толстой?

Тут Оскар пустился в пространное жизнеописание классика. Я терпеливо ждал. И дождался.

– Его заносило, – восстановив потревоженный шар на прежнем месте, резюмировал Оскар. – Не его одного, конечно, заносило, но вчера я весь вечер спорил с одним итонским профессором и, похоже, никак не могу остановиться, всё спорю. Занятный, между прочим, старичок, – он улыбнулся, – и страстный поклонник философии Толстого. Правда, после пятого упоминания этой самой «философии» я не сдержался и тактично заметил ему, что предпочитаю Толстого-писателя Толстому-философу. Это его почему-то огорчило. Мой старичок долго качал головой и наконец изрек: «Разучилась молодежь ценить великие идеи!» Каково? Это я-то – «молодежь»?!

Посмеиваясь, Оскар прицелился и загнал «потерянный» шар в лузу.

– Я сказал ему, – полюбовавшись на свою работу, продолжал он, – что идеи-то, может, и неплохие, хоть и не новые, но уж больно радикальные. Истинный философ не революционер, а эволюционист!

Я усмехнулся:

– Ты тоже хорош изрекать.

– С кем поведешься, – пробормотал он, примериваясь к новому шару. – Нет, серьезно, – промазав, он уступил мне место, – я спросил его: если бы ради того, чтобы люди могли летать – прекрасной, бесспорно, идеи, – Господь Бог взял да и отменил бы закон гравитации? Куда бы нас тогда занесло?

– Нас, как ты сам только что сказал, и без всякой отмены гравитации заносит, – пожав плечами, заметил я.

– Вот именно, – с улыбкой подтвердил мой друг. – И тогда из жизни куда-то исчезает радость. Но, – тут он опять многозначительно поднял указательный палец, – остается надежда, что занесло нас не очень далеко.

– В моря Забвения... – прицеливаясь, пробормотал я.

– Что-что? – переспросил Оскар.

Мы просидели в баре почти до утра. Я рассказывал ему о старом Леонардо. В конце концов я пересказал ему притчу о Стеклой Ящерице. Оскар загадочно улыбнулся и изрек:

– Да, боги всегда наказывали за высокомерие.

– Какое высокомерие? И какие боги? – спросил я.

– Всякие, – отмахнулся он. – А высокомерие... мне просто это слово нравится больше, чем гордыня. Твой мастер Луиджи всерьез полагал, что Творец нуждается в нем, как в рекламном агентстве.

Неожиданность такого сравнения рассмешила меня. Но подавив приступ веселья, я вступился за честь героя:

– Выражение «прославлять Творца» заимствовано из священного писания и испокон веку употреблялось по отношению к выдающимся мастерам.

– И как шаблон утратило свой изначальный смысл, – подхватил Оскар.

– Каковым являлся...

– Каковым являлся... нет, гм... – нахмурился он, – являлось... – Оскар бросил подозрительный взгляд на меня, потом на свой бокал. – В общем... являлась благодарность. Да, жажда выразить благодарность Творцу, – он облегченно вздохнул, – а не стремление навязать Ему свою квалифицированную помощь. Более того, я убежден, что благодарность не часто, в действительности, бывала творческим импульсом.

– Что же бывало *им* часто? – усмехнулся я. – Может, ты раскроешь мне, наконец, глаза на истинную природу творческого импульса?

– Нет, но я не теряю надежды на то, что ты сделаешь это сам, – отозвался Оскар и, не дав мне времени поинтересоваться, что он, собственно, хотел сказать своим глубокомысленным замечанием, продолжал: – Полагать, что Творец нуждается в рекламе, – высокомерие. И, проследив жизненный путь рьяных популяризаторов Священного Писания (спасибо, что напомнил), усомниться в этом трудно. Если, конечно, Творец... всемогущ. Но полагать, что Он не всемогущ, тоже высокомерие, – Оскар развел руками. – И посмотри, к чему это привело: к «слезам сочувствия к Создателю». Но Богу нельзя сочувствовать: это апофеоз высокомерия! На богов можно злиться, с ними можно враждовать, их можно отвергать и даже отрицать – и быть в конце концов прощенным ими. Но сочувствовать...

– Погоди, погоди, – нетерпеливо перебил я. – Ты всё валяешь в одну кучу – Бога, богов, Священное Писание, мифологию...

Оскар послушно замолчал, выжидающе поглядывая на меня. Я собрался с мыслями.

– Начнем с того, что христианство основано на сочувствии Богу.

– Ну нет! – с видом «так я и знал, что ты это скажешь» возразил он. – Христианство основано на сочувствии Христу. Человек может сочувствовать Богу, если Бог является человеком. Церковь мудра, – улыбнулся он и лукаво добавил: – Попробуй-ка посочувствуй Ветхозаветному Иегове или Святому Духу!

Я невольно улыбнулся.

– Ну хорошо, оставим их пока всех в стороне. Поговорим немного о демонах.

– Ну-ну, – хмыкнул Оскар.

– Вернее, о главном демоне и главном гордеце, о дьяволе.

– Давай поговорим о дьяволе, – вздохнул Оскар, – если тебе так хочется.

– Ты утверждаешь, – сказал я, – что отвергать и даже отрицать Творца простительно, а сочувствовать Ему – гордыня. Но дьявол потому и дьявол, что отверг Бога!

Оскар задумался, потом пожал плечами.

– Мне кажется, дьявол просто-напросто решил, что Божественное мироздание нуждается в его вмешательстве. Он сделал то же, что и Прометей, коего, кстати, весьма видные теософы отождествляют с ним. Иными словами, дьявол усомнился во всеисилии Создателя, как, между прочим, и твой Луиджи Тарлини.

– Опять «мой»! – возмутился я, но он махнул рукой и продолжал:

– Что же до того, что дьявол будто бы отверг Бога, то тебе при твоей памяти стыдно не помнить... э-э, как это там... – прищурился он, – «...и Я низринул тебя, нечистого, с вершины Божьей», ну, и так далее, – Оскар махнул рукой. – Это Бог отверг дьявола.

– «...и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды... огнистых камней»¹², – пробормотал я.

– Вот именно. Низвергнул и забыл. С глаз долой, из сердца вон! Дьявол же всего-навсего не простил этого Богу. – Оскар прервался, чтобы снова наполнить бокалы, и наполнив их, заявил: – И в этом смысле я вполне понимаю дьявола.

Тут он, по своему обыкновению, «выдержал паузу»:

– Чем мощнее личность, тем тяжелее простить ей равнодушие к себе. Равнодушия же к себе Бога простить вообще невозможно. Дьявол не смог, а человечество делает всё, чтобы этого равнодушия не признавать, и с древних времен до наших дней со страстью выдумывает отговорки и ищет оправдания Творцу. Должен признаться, – улыбнулся Оскар, – меня всегда восхищало одно, кельтское: «Не докучайте молитвой Великой Богине-Матери; Она не слышит вас; Она танцует с бабочками».

– Иными словами, – подытожил я, – ты говоришь, что мы не могли бы простить Богу того, что спокойно прощаем человеку, – равнодушия, то есть.

Оскар кивнул.

– Но справедливости ради отметим, – давась от приступа внезапного смеха, подмигнул он мне, – что обратное тоже верно.

– Обратное... в каком смысле обратное? – я заметил, что стал плохо соображать, и отодвинул бокал.

– Как бы ты отнесся к человеку, который день за днем, месяц за месяцем, год за годом выдирает бы из твоей несчастной головы по пять-шесть волосков? – спросил он, поглаживая небольшую лысину на макушке.

– Плохо, – сказал я, тактично попытавшись не рассмеяться.

– Ну, вот видишь! – радостно закивал Оскар. – А Богу – ничего, прощаем!

Отсмеявшись, я спросил, не в силах расстаться с темой:

¹² Иез. 28, 16.

– Кстати, небольшое уточнение по поводу равнодушия. По-моему, нас не столько беспокоит Его равнодушие конкретно к нам, сколько Его равнодушие вообще. Мне кажется, я простил бы равнодушие к себе, если бы при этом знал, что Он неравнодушен к другому.

– Мой дорогой, не утверждаешь ли ты, что можешь поверить, будто Он неравнодушен к кому-то другому, если Он равнодушен к тебе? – удивленно поднял брови Оскар.

Не очень соображая, о чем он, собственно, спрашивает, я поторопился с ответом:

– Я – не могу. Но откуда я знаю, вдруг ты – можешь!

Тут мы потеряли нить разговора и некоторое время растерянно смотрели друг на друга. Было около трех часов ночи, и количество выпитого кьянти явно приблизилось к критической массе. Оскар попытался протолкнуть мысль о том, что пьяное состояние является более естественным, поскольку позволяет вести рассуждения исключительно от начала к концу, а рассуждать от конца к началу – извращение и свойственно только забитой рутиной голове современного трезвенника. Я, кажется, соглашался.

Спать я лег уже на рассвете, и мне приснилось, что я стою в мастерской старого Леонардо. Я стою перед знакомой книжной полкой из красного дерева и дую сквозь специальный паяльник на оранжевый огонек спиртовки, пытаюсь отлить резьбу по бордюру полки. Дерево плавится, как стекло, и прекрасный сложный узор вспыхивает на нем. Но стоит мне перестать дуть, и узор исчезает. В недоумении я отступаю и вижу около полки писателя Льва Толстого. В руках у него топор. Прилаживаясь и что-то приговаривая, он несильно замахивается и откалывает куски дерева на бордюре. Нестерпимо смешат меня во сне слова, которые он повторяет снова и снова: «Разучилась молодежь работать по дереву...»

Смеялся я и проснувшись. Но в этом смешном сне было и нечто тревожаще-важное. Проснувшись и всё еще посмеиваясь, я подошел к книжному шкафу, кажется, со смутным намерением загладить свою невольную вину перед классиком. Но, открыв шкаф, наткнулся на притчи Леонардо.

Еще до того, как рука моя потянулась достать их с полки, я уже знал, *что* в моем сне являлось таким важным. И застыл с потрепанной серой книжечкой Леонардо в руках, удивляясь точным и безболезненным уколам в сердце: каждый из них новой волной тепла и памяти распространялся по телу. Не той куцей и плоской памяти, в капкан которой я едва не попался. Другой, той, что была в детстве, – богатой цветом, звуком, запахом, объемом и, подобно сну, не знавшей грубого линейного течения времени. И потому я не знаю, сколько его прошло, прежде чем я почувствовал: случилось нечто очень важное, случилось то, чего я безотчетно ждал весь этот мучительно долгий год, – мир перестал быть ко мне равнодушным. Я поднял голову: маленький кристалл на окне слегка покачивался и горел радужным огнем, словно разряженная и бесплотная вселенная сгустилась в ослепительную точку чистейшего света и цвета. И теплая рука старого Леонардо легла на мое плечо.

Я не воскликнул радостно и уверенно, как когда-то воскликнул он: «Какая замечательная мысль!», но прошептал с раскаяньем и надеждой: «Боже, какой я был осел...»

IV. Стекло

Аэродром так и не расширили, дом старого Леонардо благополучно стоял на прежнем месте. Была поздняя осень, и высохшие стебли разросшегося за годы плюща гигантской паутиной свисали с заколоченных окон. Внутри было темно, сыро и холодно. Я бродил по комнатам с фонарем, узнавая старую мебель: диван в моей бывшей спальне, стол в гостиной... В мастерской я нашел на полке среди инструментов синюю стеклянную пешку из шахматного набора, который Леонардо однажды отлил мне в подарок на Рождество – мне было тогда, кажется, семь или восемь... Помню, он объяснил мне правила игры и обыграл три раза подряд. Разозлившись, – старый Леонардо почему-то заставлял меня злиться как никто другой, – я раздобыл где-то сборник знаменитых шахматных матчей и всю ночь не спал, изучая тактику и стратегию чемпионов. На следующий день я разбил старого Леонардо в пух и прах, разыграв сначала простую атаку пешками, потом атаку «непобедимым конем», потом гамбит Мора и, наконец, королевский гамбит. После этого я потерял всякий интерес к игре, но не к фигуркам, отлитым из серебристо-белого и темно-синего стекла. Устроившись на полу мастерской, я разыгрывал с ними экспедиции к центру земли, войны ацтеков с испанцами и пьесы Карло Гоцци, от которых Леонардо умирал со смеху.

– Твой интеллект еще заплачется с твоим воображением, – пророчил он.

Я нанял рабочих, чтобы побыстрее привести в порядок необходимую мне для занятий часть дома, подкупил новые инструменты, заказал нужные материалы и уже через две недели владел недурно оборудованной стеклодувной мастерской.

Превосходство римского стекла над стеклом позднейшего франкского периода было разительным. Я с увлечением разбирал старинные латинские тексты и выдувал квадратные и цилиндрические сосуды с шероховатой, похожей на картон поверхностью. Я не пользовался римскими рецептами окраски стекла, а создавал цвета сам, яркие как витражи, но не поверхностные, а «присущие» материалу. Работал я и с приглушенными цветами: например, разными добавками к окиси меди мне удалось добиться опаловой переливчатости сине-серых тонов. Мне не нравилось красить стекло, и даже великолепные витражи Кентерберийского Собора оставляли меня равнодушным. Зато мозаичные окна более раннего периода, от которых отказались, поскольку они, увы, пропускали ветер и дождь, пленяли мое воображение. Я разработал очень простую методику склеивания частей мозаичного витража. И эту методику, и мой рецепт «золотого» стекла купила Бостонская химическая фабрика, а потом и еще кто-то. Приятели дразнили меня, говорили, что всё, к чему я прикасаюсь, обращается в золото. И я смеялся, хотя у оригинальной истории был, кажется, печальный конец.

– Почему ты не приведешь в порядок весь дом? – как-то в конце февраля спросил заехавший в гости Оскар. – За окном день, а у тебя в столовой темно, как в погребу. Ты бы хоть доски с окон убрал!

Я увлеченно работал над барельефом кельтской Богини-Матери, танцующей с бабочками. Я перепробовал прессовку, гравировку, шлифовку и даже так нелюбимую мною поверхностную окраску квасцами, но результаты не удовлетворяли меня. Рельеф стекла оставался плоским, безжизненным и тусклым. Может быть, следовало работать на меньшей площади и большем объеме? Углубить латунную форму так, чтобы стекло застывало медленнее и не так смешивались границы? К тому же и цвета тогда получатся ярче...

Танцующая Богиня предназначалась в подарок Сабине, которую я ждал к маю. Времени оставалось не так много, и потому мне было не до обустройства жилых помещений. Но, поразмыслив, я решил, что ей непременно захочется увидеть дом старого Леонардо.

– Похоже, он для тебя то же, что для меня моя венецианская бабушка, – заметила она во время очередного нашего телефонного разговора.

Когда позволяла связь, мы говорили с ней часами. Трудно было сообразить потом, о чем мы так долго говорили. Правда, я уже многое знал и о La Fenice, и о том, как легко заблудиться в Венеции, и даже об отличии балета от *escuela bolera*¹³, нового, внезапного увлечения Сабины.

– Труднее всего изменить привычный ритм прыжка, – объясняла она. – В балете акцент означает – вверх, а тут всё наоборот: вниз, прыжок окончен. А прыжка еще не было: ты упустила время, стоишь, дергаешься вверх-вниз, как мартышка на ниточке, а взлететь без привычного сигнала не можешь. Отвратительное ощущение беспомощности!

И, конечно, я рассказывал ей о стекле.

– Я всегда знала, что ты любишь стекло, – признавалась она. – Я замечала твою... даже не привычку – особенность глядеть не за окно, а на окно, не в витрину, а на витрину. И вино ты пил, по-моему, исключительно для того, чтобы полюбоваться игрой света в бокале. Мне иногда казалось, что если оставить тебя в покое, ты так и будешь сидеть до Судного дня, глядя на разноцветные блики на дне бокала.

Часто мы просто молчали.

– О чем ты думаешь? – прерывала молчание она.

– О тебе, – отвечал я.

Тогда оба мы смеялись и оба знали, что смеемся одному и тому же – обманчивой простоте слов.

К концу марта с окон наконец сняли доски. Было немного жаль обрывать уже зазеленевший дикий плющ.

Пока рабочие мыли стекла, я приводил в порядок спальню в мансарде: расставил там кое-какую перевезенную из квартиры мебель, повесил новые шторы.

Спустился я ближе к полудню, когда рабочие уже ушли, и, проходя мимо приоткрытой в маленькую столовую двери, заметил, что там совсем темно. Решив, что доски с западного окна по какой-то причине забыли снять, я шагнул в комнату. Это была любимая комната старого Леонардо, та самая, в которой он свидетельствовал закат в последний вечер своей жизни. Кресло его всё так же стояло у окна. Но полумрак в комнате объяснялся тем, что само стекло оказалось каким-то темным, словно покрытым копотью. Я провел пальцем по его поверхности, убедился в том, что оно совершенно чистое, и распахнул окно – проверить, как оно выглядит снаружи. Холодный, по-весеннему будоражащий воздух и ясный дневной свет наполнили маленькую комнату. Жемчужно-голубое небо, бледное у горизонта, почти сливалось со светлосерой, спокойной водой океана, и я засмотрелся на эту знакомую с детства картину, забыв на секунду, зачем открыл окно.

Окно, между тем, было очень странным. Стекла, несомненно ручной работы, оказались гораздо толще обычных, и цвет их не был однороден. Внизу – опалово-серый, подобный греческой копоти, но гораздо легче и прозрачнее; чуть выше он плавно переходил в более темный с оттенком синевы, затем, еще выше, в приглушенный кобальт, сгушавшийся почти до черноты на самом верху. В довершение всего в стекле можно было разглядеть мельчайшие темные вкрапления разной густоты. Я долго ломал голову над странной фантазией Леонардо, но только основательно продрог, ничего не придумал и, закрыв в конце концов окно, отправился на кухню заваривать чай.

В тот день, продолжая размышлять о загадочном стекле, я закончил работу в мастерской рано. Меня почему-то неудержимо тянуло снова взглянуть на окно. Захватив с собой бокал бренди, я спустился вниз. Немного досадуя на себя, – драгоценные часы дневного света еще не истекли, – я переступил порог темной комнаты и замер, боясь шевельнуться и не веря своим

¹³ Школа болеро (*исп.*) – школа классического испанского танца.

глазам. С оглушительным звоном разлетелся выскользнувший из руки бокал. Но если бы в этот момент весь мир со звоном разлетелся у моих ног, я не смог бы оторвать взгляда от волшебного окна...

Подарок Леонардо не был похож на изощренную фантазию моего сна: я не скользил по стеклянному морю и узорчатая луна не скользила навстречу мне. Всё было несоизмеримо проще и, несмотря на сказочную гротескность красок, несоизмеримо вернее. Темно-синее ночное небо окружало огромную, как в детстве, голубую с зеленоватым отливом луну. В ореоле ее света блестели легкие облака, и сверкающая лунная дорога медленно сходила на нет где-то между горизонтом и тем местом, где начинался – или кончался? – океан. И этот закат я доглядел до конца, до того момента, как огромная круглая луна утонула за горизонтом, неторопливо и величественно погрузившись в воду.

Когда синее, горящее страстным огнем ночи окно погасло, я ошупью добрался до леонардова кресла и зажег свечу. И пока свеча горела, мне всё виделась среди отразившихся в стекле предметов – не знаю, наяву или во сне, – странная, чарующая и высокомерная улыбка старого Леонардо.

Оскар очень долго молчал, опустив глаза и улыбаясь. Мы сидели в ресторане Пино Карлуччи, в который я зачастил по вечерам после того, как почти переселился в дом на пустыре.

– История замечательная, – сказал он, выведя меня из задумчивости. Я размышлял о подсветке к законченному наконец барельефу танцующей Богини. Я поднял глаза. – Можно поворачивать ее и так и этак, как ты свой бокал, и углядеть в ней множество граней, кроме той, на которой, как мне кажется, более всего заострено твое внимание.

Я вздохнул:

– Опять ты начинаешь издалека. Нельзя ли попроще?

– Можно, – с готовностью отозвался Оскар. – Всё это прекрасно: и судьба, и подарок, и Леонардо, и доски с плющом, и окно, и кобальт! Но не кажется ли тебе, что лунного заката ты все-таки не видел? Не правильнее ли будет назвать то, что ты видел, прекрасной... иллюзией?

– Если бы ты знал, – сказал я, глядя в его невинно улыбающееся лицо, – как однообразны твои журналистские приемчики! Скажи прямо, что ты хочешь от меня услышать?

– Апологию творчеству, – внезапно посерьезнев, ответил он. – Момент, по-моему, самый подходящий. – И добавил, опять улыбнувшись: – Причем мне нравится даже твой стиль.

– Какой стиль?

– Твой выбор слов, очевидно, обусловлен особенностями твоей памяти: в нем часто присутствует эдакая патетика... литературного штампа.

Я пожал плечами:

– Ты назвал лунный закат Леонардо «иллюзией» только потому, что он создан руками человека.

– Разумеется.

– М-да... бедный человек, – улыбнулся я. – Давай уж хоть мы с тобой будем к нему справедливы. Впрочем, наша справедливость тут не в счет. Насколько легче жилось бы человеку в мире, если бы его представление о справедливости меньше отличалось от представления о справедливости Создателя этого мира. Но оно непримиримо отлично, да и как может быть иначе: человек смертен. И живет он в мире, где утраты необратимы, природа неукротима и судьба неумолима, где столько скорби и бессмыслицы, что порой всё существо его кричит от боли, требуя гармонии и справедливости. И вот тогда художник берет в руки кисть, музыкант – инструмент, поэт – что там берут поэты... а стеклодув – песок. Берет, может быть, потому, что это единственный способ высказать и смягчить боль. И всё, что для этого нужно, он вдруг находит под рукой: краски, голос, струну, бумагу, талант, дневной свет... потому что в мире есть всё. И он вдруг замечает, что мир жестких фактов превращается для него просто в мир, в котором есть *всё*. На минуту взгляд его охватывает это *всё*, почти как взгляд Создателя, и

ничему из этого всего не может отдать предпочтения. И в эту минуту его рука, голос, дыхание, жест – это почти рука, голос, дыхание и жест Создателя. Тогда наступает странное перемирие с Творцом – перемирие, которое, конечно, закончится, но о котором останется память. – Я помолчал. – Художника можно уничтожить, унижить, раздавить, но оттого что в нем живет эта память, его почти невозможно... смутить. Так что не морочь мне голову, лунный закат я все-таки видел, – добавил я, спускаясь со стилистических высот. – Более того, это был мой и более ничей лунный закат. Понимаешь ли ты?..

Тут я бросил взгляд на Оскара и осекся: глаза его поблескивали иронично и доброжелательно, в моих разъяснениях он не нуждался.

– О-ха-ха! – сказал я. – Поддел-таки меня на свой журналистский крючок.

– О-ха-ха, поддел-таки, – самодовольно усмехнулся он. – Итак, давай подытожим, – он поднял руку и принялся по мере перечисления загибать пальцы. – Творчество проистекает из несогласия с Творцом в вопросе справедливости. Творческий процесс есть перемирие с Творцом по причине временного признания за Его справедливостью права на существование. Это признание вытекает из понимания того, что в мире есть *всё* и что ничему не отдается предпочтение. Результатом творческого процесса является почти божественный продукт творчества и память о перемирии с Творцом. Так? – поскольку все пальцы, кроме большого, на его руке были загнуты, он поднес к моему носу нечто, напоминавшее одновременно и кулак, и кукиш.

– Да уж, – сказал я, отводя эту конструкцию от своего лица. – И меня обвиняют в использовании литературных штампов! Уж лучше литературная патетика, чем канцелярщина, да еще вкупе с невежливыми жестами!

– Из Его руки, в Его руке, Его рука... – не слушая, бормотал Оскар, глядя на свою раскрытую ладонь. – Алекс, – вдруг обратился он ко мне, – может быть, пойдём? Я хотел бы взглянуть на барельеф Богини-Матери, если не возражаешь. Ты ведь собираешься ее кому-то дарить?

– Собираюсь, – ответил я. – Да не кому-то, а другой Богине, танцующей с бабочками в Венеции.

– ...и услышавшей-таки твои молитвы, – подхватил Оскар.

– Аминь, – улыбнулся я. – Мы решили жить вместе, вот только пока не соображаем где. Но это не проблема: в отличие от меня Сабина очень практична, пусть она и выбирает.

– Гм... а ты не боишься, что практичный человек, удовлетворяя свои практические нужды, не всегда берет в расчет практические нужды ближнего?

– Тогда это называется не «практичный», а «эгоистичный», – возразил я и добавил: – Не беспокойся, Сабине можно довериться, потому что она и в самом деле Богиня.

Оскар скептически приподнял одну бровь.

Я улыбнулся:

– Когда она танцует, ей подчиняется мир.

– Ну, а потом? – посмеиваясь, спросил он.

– А потом... – я пожал плечами, – ей остается только не выпускать мир из своих прелестных ручек и не позволять ему никаких выкрутасов.

Пока Оскар смеялся, я вспомнил то, о чем хотел и не успел рассказать ему.

– Знаешь, так странно... когда я сидел в кресле и глядел на погасшее окно, готов поклясться, что видел в нем лицо Леонардо. Во всяком случае, я узнал его улыбку. У Леонардо была особая улыбка, чарующая и высокомерная, как у Луиджи Торлини. Что ты на это скажешь?

– На это, – поднимаясь со стула, ответил мой друг, – я скажу то же, что скажет тебе твоя практичная Богиня: мой дорогой, ты видел свое отражение в стекле.

«Счастливая» сумка Оскара

Все стоящие знакомства моей жизни были уличными. К таковым относилось и знакомство с Алексом Грацини, который сидел напротив меня, сосредоточенно рассматривая пустой бокал.

– Ну, что мы будем заказывать? – спросил я, убедившись, что мой приятель не намерен прерывать своего созерцания ради пошлого чтения меню.

– Можно заказать телятину, – отозвался он, – здесь ее отлично готовят.

– Что ты там ищешь в своем пустом бокале? – поинтересовался я.

– Синий цвет, – ответил Алекс. – Знаешь, почему мне нравится приходить сюда? Из-за этих цветных неоновых ламп. – Говоря это, он обвел пальцем синее пятно отраженного света на своем пустом бокале. – Я никогда не видел стекла такого поразительно интенсивного синего цвета. А если налить красного вина, – и он протянул мне бокал, – то он становится еще глубже и бархатистее. Только наливать следует не более трети бокала, иначе всё тонет в темно-фиолетовом. Зеленый, впрочем, тоже хорош; я имею в виду вот этот, светло-изумрудный.

Я наполнил его бокал на треть, как было велено, и он поводит рукой, чтобы поймать на стекло ускользнувшее было зеленое пятно.

– Но видишь, зеленый с вином теряет чистоту.

– Вижу, – сказал я. – Зато с этой эссенцией гораздо веселее жить.

– Эссенцией, – задумчиво повторил он, – жить... Это интересное сочетание слов. – И добавил: – Как удивительно, что мы так долго не знаем, что составляло эссенцию нашей жизни.

– Что ты там бормочешь? – насторожился я. Рассуждения моего друга Алекса на отвлеченные темы настраивали меня порой на размышления этимологического характера. Он не стеснялся прибегать к высокопарным словесным штампам, но всегда в контекстах, заставлявших меня заново задумываться о смысле входящих в них слов.

– Я говорю, – отозвался он, – что средоточие сути нашей жизни вовсе не там, где мы полагаем средоточие ее смысла.

– Какая разница между смыслом и сутью? – подзадорил его я.

– Смысл – это результат волевого усилия, то есть он там, где мы сами его полагаем, а суть... – он на секунду задумался, – это радость.

Я усмехнулся:

– Радость? Я слышал одного пуританского проповедника, утверждавшего, что земная жизнь есть «суть – трагедия». Так и заявил: «трагедия изгнанных из рая».

Но Алекса было нелегко сбить с толку.

– Такое суждение противоречит моему только на первый взгляд. Трагедия... – он снова задумался, – это ступень в постижении сути.

Я рассмеялся:

– Этак у тебя получается изгнание из рая наоборот.

– Как это – изгнание наоборот?

– Наоборот – это как одна маленькая девочка заметила, когда меня тошнило в городском парке: «Дядя, а что вы делаете – кушаете наоборот?» Вот и у тебя, Алекс, получается: рай – это радость, изгнание из него – трагедия. Через трагедию ты и предлагаешь войти в рай снова, в обратном порядке, наоборот, так сказать.

– Ничего я не предлагаю, – с улыбкой отмахнулся он и снова занялся разглядыванием бокала.

Мне было жаль, что он замолчал, я задумался над его странным определением трагедии. В строгом смысле слова определением оно, конечно, не было, но звучало, пожалуй, вразуми-

тельнее известных мне попыток уточнить трагедию как жанр и интереснее использования этого слова в качестве синонима горя.

Мне хотелось заставить его разговориться, но в тот вечер получилось опять-таки наоборот – разговорился я.

У меня тоже имелась причина, по которой мне нравилось приходить в ресторан Пино Карлуччи, – она оказалась сродни Алексовым цветным лампам. Этой причиной являлась фотография, висевшая на стене над нашим столиком. Благоволивший к нам Пино всегда старался придержать этот столик для нас.

Карлуччи считался тонким знатоком и ценителем оперы, и стены его заведения густо украшали фотографии оперных див и сцен из постановок La Scala и Wiener Staatsoper.

На той, которая висела над нашим столом, улыбалось улыбкой сложной и прекрасной, как редчайшая музыкальная гармония, юное женское лицо.

– Знаешь, – снова прервал я созерцание своего приятеля, – мне тоже нравится приходить сюда, и у меня тоже есть на то причина – эта фотография.

– Кто это? – спросил он, взглянув на изображение вслед за мной.

– Понятия не имею, – отозвался я, – какая-то миланская певица в молодости. Ее лицо напоминает мне... об одном давнем знакомстве.

– Расскажи, – Алекс чуть отодвинул бокал, и мне, по достоинству оценившему жертвенность этого жеста, ничего другого не оставалось, как поведать ему историю, происшедшую со мной двадцать с лишним лет назад.

* * *

В то время я был двадцатидвухлетним балбесом, только-только начавшим задумываться над тем, чем являюсь и чем бы мне хотелось являться в оставшиеся, за вычетом двадцати двух, годы моей жизни. Я играл на гитаре в одной из бесчисленных в те годы рок-н-рольных групп и гордо не отвечал на заигрывания юных поклонниц этого музыкального жанра, потому что был тягостно и безнадежно влюблен.

Ее называли Фриной, и так же называл ее я, хотя настоящее ее имя нравилось мне больше – Жизель. Но она ненавидела свое настоящее имя. Для нее оно стало клеймом, символом заранее спланированной пожилыми и состоятельными родителями судьбы, от которой она пыталась бежать в семнадцать лет.

Она приехала ко мне, доверчиво внеся в мою темную полуподвальную комнату изящный кожаный, тисненый серебром саквояж и дорогой бежевый плащ на шелковой белой подкладке.

За два месяца до этого я познакомился с ней в портовом кафе в Новом Орлеане, и она просила меня приютить ее на некоторое время, пока она не отыщет работу.

Она подошла к столику, где я сидел с приятелями-музыкантами в перерыве между отделениями концерта, спросила, откуда наша группа приехала и смогу ли я потом немного задержаться. Она была ошеломляюще красива и обращалась только ко мне, что, конечно, очень польстило моему самолюбию.

Я просидел с ней на ведущих к Миссисипи сбитых каменных ступенях до самой зари.

Она рассказывала о своих родителях, о том, что они уже пожилые люди и у них долго не было детей, говорила, что оказалась единственным объектом всех их жизненных устремлений, что это невыносимо и что она чувствует себя так, словно живет на витрине. В детстве, – рассказывала она, – у нее были очень темные волосы, и ее родители недоумевали по этому поводу, поскольку и сами они, и все их близкие родственники имели светлые волосы. И вот она заметила, что ее волосы стали светлеть, и испугалась. Ее поразила мысль о том, что окружающие могут менять ее по своему усмотрению – лепить, раскрашивать, – стоит им только пожелать...

Она также сетовала на то, что родители ее богаты и это, в сочетании с ее красотой, всегда и везде привлекает к ней чрезмерное внимание. Она даже жаловалась, что была самой способной ученицей своего выпуска и что красавец учитель истории, в которого были влюблены все девочки, танцевал с ней на выпускном вечере и объяснился ей в любви.

Я заметил ей, что в этом нет ничего удивительного и, уж тем более, ничего страшного, но она покачала головой.

– Очень опасно, – сказала она, – постоянно ощущать, как видят тебя другие. Так я никогда не научусь видеть себя сама. Я словно все время гляжусь в кривое зеркало.

Я признался ей, что подобное опасение никогда не приходило мне в голову. Родители в основном обращали на нас с братьями внимание для того, чтобы что-нибудь запретить или за что-нибудь наказать, как, впрочем, и полагается родителям. Что же касается прочих людей, то было бы странно, если бы я терзался на сцене мыслью о том, что привлекаю чересчур много внимания. Честно говоря, мне, наоборот, всегда казалось, что этого внимания недостаточно. Меня удивило и позабавило, что кому-то может прийти в голову, будто нет ничего ужаснее, чем быть объектом внимания окружающих.

– И меня, – добавил я, – нисколько не расстраивает то, что ты обратила внимание именно на меня, а не на кого-нибудь другого из нашей компании.

Она улыбалась и кивала, слушая меня, и повторяла:

– Так я и думала.

Несколько сбитый с толку этим нашим разговором, я спросил ее, чего же она, собственно, хотела бы для себя.

– Я хочу, – сказала она, – чтобы вещи ничтожные были для меня неважны, чтобы я всегда радовалась радостному и печалилась печальному.

Помню, слова эти почему-то показались мне безжалостными. Мне показалось, что они могут отнять у меня что-то или... надежду на что-то. Помолчав, я съязвил:

– Значит, ты хочешь стать святой.

– Нет, – ответила она. – Я хочу стать сама собой. И я хочу всегда этого хотеть. А ты? Чего хочешь ты?

Я смотрел на нее. Вся она, с загадочным блеском темных глаз, с бледным, как лунный свет, лицом, со светлыми, чуть колеблемыми речным ветром волосами, с зеленым шелковым кружевом сказочно красивого платья, была так же волнующа и неизбежна, как окружавшая нас ночь. Больше всего на свете мне хотелось прижать ее к себе и целовать, целовать, пока хватило бы дыхания. Но хоть рядом со мной, считавшим себя опытным мужчиной, сидела семнадцатилетняя девочка, я не осмелился даже придвинуться к ней ближе.

И когда она под утро купалась нагишом в желтоватой, пахнущей нефтью воде у пристани, я остался на берегу. Я держал на коленях ее зеленое шелковое платье и беспокоился о том, что ее могут заметить, когда она будет выходить из воды, потому что уже светало.

Получасом позже, когда она спокойно взяла из моих рук платье, я впервые заглянул в ее глаза при свете дня. Они были светло-карими, почти золотыми. Волосы ее тоже казались золотыми, и всё ее юное точеное тело золотилось в первых утренних лучах солнца. В ней не чувствовалось ни смущения, ни кокетства; она была похожа на богиню, но не высеченную в мраморе, а отлитую из светлого золота.

Очевидно, я и смотрел на нее как на богиню, потому что она усмехнулась и сказала:

– Юрист моего дяди однажды заявил, что взялся бы оправдать меня перед любым судом, раздев донага, как Фрину.

Я не знал тогда, кто такая Фрина, но, конечно, не спросил ее об этом. Не спросил я ее и о том, каким образом юрист ее дяди мог видеть – и видел ли? – ее нагой.

Когда мы прощались в десяти шагах от обшарпанного автобуса, на котором нашей группе предстояло продолжить турне по Луизиане, она попросила:

– Когда я приеду, пожалуйста, больше не называй меня Жизель, называй меня Фриной.

Через два месяца она приехала. Ждал ли я ее приезда? Очевидно, поскольку, помню, всё время пытался убедить себя в том, что она не приедет.

Она обладала удивительной способностью нравиться абсолютно всем. Я не хочу сказать, что она не вызывала зависти женщин или отчаяния мужчин, или что она, скажем, не ущемляла самолюбия невежд обоого пола. К слову сказать, к последней категории я относил и себя. К предпоследней, впрочем, тоже. Но я не помню, чтобы она хоть раз вызвала чью-нибудь неприязнь или неодобрение. Женщины старались ей подражать, мужчины – нравиться, а невежды – сказать что-нибудь умное. Во Фрине были очарование, такт, любезность и отстраненность, причем безо всякого видимого усилия с ее стороны и безо всякой аффектации. Очевидно, именно такой букет качеств звался когда-то светскостью.

Но в те дни я мало задумывался над секретом ее всегдашней уместности. Мне было над чем задуматься и без того.

Чтобы немного подзаработать, – за концерты платили мало, – я устроился рассыльным, и с шести часов утра до полудня успевал обегать полгорода. Я полюбил эти часы, когда измученное бессонными ночами тело казалось невесомым, а голова – легкой, рождавшей кристально четкие, хоть и невеселые мысли.

Ночи же мои были бессонны не потому, что я занимался любовью с Фриной, а по причине совершенно противоположной. Поверь мне, по тем временам, в том кругу, в котором протекала моя жизнь, такая ситуация казалась совершенно невероятной. Тем не менее, это было так. Она спала на моем диване, отгороженном по случаю ее приезда старой китайской ширмой, а я на надувном матрасе у противоположной стены. Матрас я, разумеется, на день убирал – было совестно заходивших приятелей. Они же шутили по поводу алькова за ширмами и по поводу моего бледного вида.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.